

## КОНЦЕПЦИИ И МЕТОДЫ РОССИЙСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

### Проблемы социологии Юрия Левады\*

Л.Д. ГУДКОВ

Мы думаем о том, что мы думаем.  
Мы думаем о наших мыслях,  
можем их анализировать.  
Мы иногда знаем, когда мы знаем,  
и знаем, когда мы не знаем.  
*Ю. Левада. Лекции по социологии*

### Предварительные замечания

После смерти Ю.А. Левада был почти единодушно признан «безусловным моральным авторитетом» и наиболее ярким или даже самым крупным ученым в российской социологии. Однако работы Левады, как и прежде, остаются мало известными. Если в советское время отсутствие отклика можно было в какой-то мере объяснять недоступностью его сочинений (Леваду почти не печатали, а то, что публиковалось, выходило в ведомственных или малотиражных сборниках, ссылки на его работы старательно вычеркивались), то с конца 1980-х годов никаких ограничений уже не существовало: Левада много печатался, и не только в специальных изданиях (см., например [Левада 1989в, с. 448–459; 1989а, с. 34–45; 1990, с. 15–30]). Однако его работы (особенно ранние – времен запрета на профессиональные публикации – 1972–1985 гг.) сегодня почти не цитируются, не входят в учебные курсы по социологии или культурологии, а значит – не обращаются в качестве значимых теоретических и концептуальных конструкций, образцов анализа или интерпретации социальной реальности<sup>1</sup>. Можно объяснить это непониманием, хотя, как мне кажется, более серьезные причины заключаются в неприятии его научной и человеческой позиции, оказавшейся явно маргинальной по отношению к правилам игры, принятым в отечественной науке. Отсутствие интереса к идеям и исследованиям Левады обусловлено инерцией академического конформизма, когда-то острой, сегодня почти стертой, раздраженной реакцией на независимость

\* Настоящая статья представляет собой переработанный и уточненный вариант публикации «Социология Юрия Левады: опыт систематизации» (см. «Вестник общественного мнения». 2007. № 4).

<sup>1</sup> Библиографию основных публикаций Ю.А. Левады, составленную Б.В. Дубиным, см. в [Дубин 2007, с. 248–250].

человека, не желавшего каяться в своих научных «грехах». Его дистанцированное отношение к российской социологической среде принимали за высокомерие, подозревали в претенциозности или упрекали в неблагодарности<sup>2</sup>. Но так или иначе, «за Левадой» оказалось записанным главным образом экстранаучное значение, а не его концепции или эмпирические разработки<sup>3</sup>.

В любом случае мне не хотелось бы затрагивать здесь подобные темы. Для отечественной социологии, на мой взгляд, гораздо важнее разобрать тот круг социологических проблем, которые притягивали внимание Ю.А. Левады, чем перебирать обстоятельства исследовательской работы в СССР или в постсоветской России.

Теоретические работы Левады 1970–1980-х годов написаны, действительно, предельно сжато, практически без примеров или разъяснений. Однако стиль его работ тех лет лишь отчасти обусловлен соображениями «проходимости» и цензуры, а также неопределенностью своего положения. Более адекватным объяснением, как мне кажется, было бы указание на предельную сосредоточенность мысли автора на проблемах, которые в принципе исключены из отечественной социальной науки, остающейся, по сути, эпигонской: это – общая теория социологии и ее главные составляющие – аналитические возможности концептуального схватывания разных типов человека и соответствующая им организация социальных форм. Левада постоянно размышлял над проблемами этого рода и предлагал свои решения без каких-либо оговорок и скидок на особые обстоятельства, обусловленные «спецификой отечественной ситуации».

Но и поздние его работы, написанные уже во времена ВЦИОМ и Левада-центра, хотя и кажутся более ясными и «заземленными», «эмпирическими», содержащими огромное количество цифр и других иллюстраций фактического материала из массовых опросов, очень не просты.

В данной статье речь не идет об «аутентичности» воспроизведения левадовской работы, а лишь о вынужденной схематизации его идей и способов понимания действительности, его интерпретации текущих процессов в России. Мне не хотелось бы создавать у читателя ложное представление о систематическом характере его теоретических разработок или навязывать кому-то мысль о наличии особой, «стройной» теории общества или методологии познания посттоталитарного социума. Никакого «общего плана» своей работы у Левады, видимо, не было. Он

<sup>2</sup> «...Обидно, что впоследствии Юрий Александрович встал в позу обиженного человека... Уверен, что мы его тогда спасли» [Осинов 2008, с. 8].

<sup>3</sup> Поэтому мне трудно принять, например, утверждения В.Э. Шляпентоха [Шляпентох 2007, с. 230–236], выдвигающего историю с «Лекциями по социологии» на первый план в научной биографии Ю.А. Левады. По тем же причинам я далек от позиции М. Габовича, протестующего против «курения фимиама» и нарождающегося «культа Левады» [Gabowitsch 2008, s. 33–52]. То, что несколько некрологов и памятных материалов о Леваде, появившихся в печати и Интернете, воспринимаются как «иконизация», на мой взгляд, свидетельствует не просто о неадекватности понимания ситуации в российской социологии или о кажущейся «чрезмерности» реакции на его смерть, а о том, что затеты очень важные точки профессиональной самоидентичности социологов. Самому Леваде, как мне представляется, навязывание любой патетической роли было крайне неприятным («Я – не любитель ораторствовать и у меня желания что-то вытащить из кармана и удивить публику никогда не бывает <...> Никаких деклараций у меня приготовлено не было, и я их вообще не люблю» [Левада 20056]).

следовал тому, что ему было «интересным». Однако внутренняя свобода мысли не означает, что нельзя говорить об определенной логике его социологических исследований, обусловленной спецификой познавательного интереса (характером тех задач, которые он ставил перед собой или своими сотрудниками).

### **Задачи социолога в ситуации социального разлома. Особенности социологического подхода Ю.А. Левады**

Своеобразие левадовского способа работы состоит в стремлении обнаружить многообразие мотивов и образцов действия, признании сложности социальной материи в конкретных, российских обстоятельствах и ситуациях «сейчас идущей жизни», выявлении такой же равноценности российской реальности, что и в других зонах мировой истории. Такая фокусировка исследовательского интереса была совершенно понятна для тех, кто жил в условиях советского принудительного единомыслия, тотальной организации социальной и индивидуальной жизни людей. Для Левады, как и для многих других социологов, недопустимость сведения социологического объяснения индивидуального или массового поведения к формальным институциональным или даже неформальным групповым нормам и правилам была совершенно очевидной.

Первоначальный пафос советской социологии был окрашен искренним стремлением к описанию реальности «самой по себе», освобожденной не только от догм или клише пропаганды, но и от жесткой системы официальной регламентации и нормативного управления. То, что дало толчок для критики структурного функционализма в конце 1960–1970-х годов со стороны представителей радикальных или гуманистических, этнометодологических направлений социологии (одномерность социальной системы, трактовка ее как бесконфликтной или лишенной источников развития), было вполне очевидным для исследователя тоталитарного общества, в котором центральные институты власти, управления, устрашения впервые начали «давать сбой». Социальная действительность стала обнаруживать свою сложность, противоречивость, многомерность. Анализ природы тоталитарных режимов, а именно такого рода задачи возникают у Левады уже в его ранних работах (начиная с его занятий идеологией христианского социализма и гуманистической этикой, социологией религии) и остаются в центре исследовательского интереса ученого до конца жизни, требовал новых понятийных средств описания и объяснения структуры личности человека и его взаимодействия с общественными системами. Именно поэтому стала очевидной необходимость владения средствами структурно-функционального анализа (для объяснения устойчивости институциональной структуры и ее воспроизводства), с одной стороны, а с другой – поиск возможностей исследования гетерогенности человека как потенциального источника изменения. Последнее (удивление перед сложностью структуры человека) было характерно не только для Левады. Это можно считать общей чертой того времени – резкое расширение временных и тематических горизонтов исследовательской работы, однако проявившееся, в первую очередь, в семинарской работе различных научных коллективов, поскольку

ку цензура и формальные рамки советских учреждений накладывали свои ограничения на научную жизнь<sup>4</sup>.

Определенность этической позиции Левады, приоритетность моральных принципов перед любыми другими ценностями и мотивами делали его независимым от средового «прогрессизма», соблазняющего многих своим безответственным и бездумным утопизмом, или от столь же распространенного интеллигентского релятивизма, за которым чаще всего скрывался прагматически расчетливый, конформистский меркантилизм<sup>5</sup>. Сохраняющаяся трезвость оценки людей при неизменном интересе к ним, любопытство по отношению к самодостаточной жизни не совместимы ни с нетерпением, рождающимся из необоснованных и очень примитивных упований на ближайшее будущее, ни с надеждами на отдаленные перемены, равно как и со столь же плоским безудержным отчаянием, последовавшим после неудачи «демократии» в России. Тяжесть и безнадежность восприятия жизни в какой-то степени снимались такими анестезирующими средствами, как отстранение от наблюдаемого: «Я вам сказал, что я загораживаюсь тем, что я – наблюдатель, я – скептик, моя задача исследовать. А жить и переживать... это сложнее задача» (см. [Левада 2005б]). Одиночество, следующее из принятия такого рода позиции, было совершенно осмысленным и, видимо, экзистенциально мотивированным. Оно открывало ему пространство внутренней свободы, ощущаемой окружающими, устанавливало дистанцию по отношению к событиям внешнего мира. «Небо звезд», которое он время от времени упоминал, было для него не чужой цитатой, а действительно единственно значимой перспективой видения и оценки реальности. Разумеется, эти принципы никогда им не декларировались, но прочитывались окружающими ежечасно в его повседневном поведении или отношении к работе, к собственным текстам, в подходе к анализу социального материала. Вместе с тем эта высота означала не только неизбежное одиночество, но и суровость, даже жесткость отношения к себе. Только такая позиция открывала возможность «объективного» изучения тоталитарного общества и человека этого общества, оценки его будущего.

Именно эта точка зрения (или, иначе говоря, характер отношения к себе и окружающему) вызывает «непонимание» у его читателей. Такая позиция цензурировалась, вытеснялась, не принималась социологическим окружением, поскольку

<sup>4</sup> Сегодня, спустя десятилетия, отчетливо видно, как одновременно в самых разных областях науки шел процесс осмысления гетерогенности сознания, глубины культурной памяти и сохранения архаических пластов в современном сознании. Речь идет не только о семиотических работах В.В. Иванова и В.Н. Топорова, но и о исторических трудах А.Я. Гуревича, анализе структуры сознания у М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорского, многозначности структуры текста у Ю.М. Лотмана, о разборе символического поведения и характера «бессознательного» у Ф.В. Басина, о социологии личности И.С. Кона и многих других. Еще в большей степени подобные вопросы (например, проблема двоемыслия) затрагивались в литературных произведениях той эпохи.

<sup>5</sup> Этическая проблематика (соотношение «злого» и «доброего» начал в человеке) остается одной из скрытых сквозных тем его «Лекций по социологии», начиная уже с первых отсылок к Достоевскому и влиянию религии, роли мифологии и «ядру личности». Именно ясность и твердость этической позиции Левады (близкая к кантовской) позволили ему идти на формальные компромиссы, требуемые от руководителя научного подразделения в советское время, не теряя возможности научной работы (ср. внешнюю, отстраненную оценку подобного поведения, данную Д. Шалиным: «Это пример разумного, "формального конформизма", неизбежного в условиях несвободы» [Шалин 2007]).



с одной стороны, выходила за рамки конвенциональных средств интерпретации российских перемен с их плоским государственным или транзитологизмом, а с другой — воспринималась как отказ от прямого участия в политике, а у более внимательных наблюдателей — как глубокий пессимизм Левады в отношении современного состояния российского общества. Но и то, и другое суждение неверны. «Незаинтересованное рассмотрение», разведение (но не отключенность от актуальных проблем) научной деятельности и политического действия требуют что-то вроде феноменологической пропедевтики, воздержания от практических оценок и смешения их с познавательными ценностями. Нельзя связывать проблемы исследования («понимания») с прямой включенностью в ситуацию действия. Как и во многих других отношениях, даже близкие и симпатичные ему люди с трудом воспринимали тезис, что понимание — это тоже действие, причем более существенное, нежели участие в тех или иных гражданских акциях.

Парадоксы такого рода сам Левада выделял в качестве метки или симптоматики реально существующих социологических проблем, более того — он разворачивал их уже в виде коллизии социальных взаимодействий, противоречия в структурах идентичностей, ролевых или ценностно-нормативных конфликтов, столкновения групповых и институциональных интересов. Парадокс для него был не частным концептуальным или методологическим недоразумением, а указанием на многообразие социальных определений, источниками которого являются гетерогенность или многослойность социокультурных систем и механизмов регуляции социального действия.

### Круг интересов. Тематика занятий сектора Левады

Отдел в ИКСИ, который возглавлял Ю.А. Левада, назывался Сектор изыскательского проекта «Методология исследования социальных процессов». Под его руководством осуществлялась интенсивная коллективная работа по освоению круга идей и методологии западной социологии<sup>6</sup>. В рамках работы сектора действовали три параллельных методологических семинара — общий, на котором по понедельникам с двух часов слушались доклады приглашенных гостей («варягов») или своих, членов сектора, главным образом тогдашних аспирантов Левады

<sup>6</sup> За рамками настоящей статьи остаются занятия Левады социологией религии, особенно — мифологическим сознанием (его разбор принципиальной структуры и функций мифа, истории, традиции как важнейших компонентов конструкции «вертикальных» институтов, т. е. таких, которые легитимированы сакральными представлениями) и социальной организацией религиозного и идеологического воздействия на массы. В этом ряду особенно примечательным оказывается его анализ социальной основы мышления и политических мифов (в том числе таких, как «величие нации», «всеведение фюрера» и иерархическая структура нацистского режима), тоталитарной пропаганды и культа в фашизме и нацизме (см. [Левада 1965б, с. 232–239]), а также более ранние работы, такие как «Современное христианство и социальный прогресс» [Левада 1962], статьи «Христианство», «Фашизм», «Традиция», «Структура социальная» и другие в «Философской энциклопедии» [Левада 1970]. Учитывая, что в те же годы он неоднократно обращался к кибернетике, системным моделям общества, процессам модернизации, природе массовой и элитарной культуры, переход к проблематике, с одной стороны, массового общества, с другой — тоталитаризма, имеющего уже прямое отношение к исследованиям советского «общества-государства», вполне обоснован и закономерен.

Л.А. Седова или И.С. Кона (вначале в штате было всего несколько человек, потом он увеличился за счет окончивших аспирантуру); культурантропологический (его вел Д. Сегал) и логико-социологический (последний, впрочем, был нерегулярным, им руководил А.И. Ракитов при участии Ю.А. Гастева). Главное внимание уделялось изучению доминирующих на тот момент социологических школ — структурно-функциональной парадигмы Т. Парсонса (последний был предметом штудий не только Левады, но и Л.А. Седова, Н.Н. Стрельцова, В.В. Пациорковского, Г.Е. Беляевой), символического интеракционизма, социальной и культурной антропологии, в меньшей мере — «понимающей» социологии М. Вебера (здесь главное место принадлежало М.А. Виткину), еще меньше — Г. Зиммелю (хотя Левада, безусловно, знал некоторые его работы) и др. О «немцах» с докладами выступали Ю.Н. Давыдов (социология М. Шелера), П.П. Гайдено и др. О продуктивности этой работы можно судить хотя бы по тому, что за время существования отдела (с октября 1966 по май 1972 г.) были заслушаны более 150 докладов и проведена одна конференция (по проблемам аномии в апреле — мае 1971 г.)<sup>7</sup>. Когда в связи с ликвидацией сектора подводились итоги его деятельности, в качестве отчета о пятилетней работе были представлены, среди прочего, коллективная монография по структурно-функциональному анализу (она так и не была опубликована), сборник статей «Логика и социология» (та же судьба) и 17 сборников переводов работ зарубежных авторов по социологии и смежным дисциплинам<sup>8</sup>. Из аспирантов и младших научных сотрудников левадовского сектора, подготовивших диссертации под его руководством, следует назвать Т.Б. Любимову (проблема ценностей в социологии), А.Г. Левинсона (социокультурная модель города), Д.Б. Зильбермана (типология культур), А.А. Голова и других, но до разгона защититься никто не успел. Лишь две блестящие защиты — Б.Г. Юдина и Ю.А. Гастева — успели состояться до момента обострения ситуации в институте. Д.Б. Зильберман, самый одаренный (по словам Левады, гений), не смог закрепиться в Москве и вынужден был эмигрировать. В США началась его вполне успешная карьера молодого университетского профессора, но вскоре нелепо оборвалась — он погиб, сбитый пьяным водителем<sup>9</sup>.

Но история левадовского сектора в ИКСИ — это отдельная тема, требующая своего историка. Здесь мне важно указать лишь на самый общий круг ведущихся разработок, источники, школы западной социологии, которые были в поле постоянного внимания Левады и как самостоятельного ученого, и в качестве научного руководителя социологического проекта. Левада ушел из ИКСИ в ЦЭМИ, не дожидаясь разгрома социологии, учиненного М.Н. Руткевичем. В Институте осталась лишь самая посредственная публика. В ЦЭМИ Левада оказался в круге

<sup>7</sup> См. список протоколов научных докладов, сделанных на семинаре Ю.А. Левады в 1966–1972 гг. [Новое и старое в теоретической социологии 2001, с. 227–234].

<sup>8</sup> Были опубликованы только первые два выпуска «Структурно-функционального анализа в современной социологии» [Информационный бюллетень... 1968], третий [Информационный бюллетень... 1969] был уже отпечатан, но по распоряжению Г.В. Осипова отправлен под пож. А.Г. Левинсон и я храним по экземпляру этого выпуска, которые были вынесены нами из помещения институтского ротопринта.

<sup>9</sup> См. [Гурко 2007].

дискуссий экономистов, позднее ставших идеологами реформ. С некоторыми неизбежными перерывами продолжал работу левадовский семинар.

### Теоретические работы 1973–1984 гг.

Занятия теоретическими проблемами социологии у Левады не имели самоценного, эскапистского характера, как это было у многих в советское время (системы знания западной науки – социологии, истории, антропологии, философии, культурологии – для искренне увлеченных людей того времени представляли собой как бы вневременный и прекрасный, платоновский мир свободы, истины, идеальных сущностей, «третий мир» в смысле К. Поппера или кастальской игры Г. Гессе). Напротив, они были мотивированы внутренним, личностным, в этом смысле – ценностным, высокозначимым интересом к настоящему и поиском надежных и адекватных средств, позволяющих понять особенности тоталитарных режимов (советского в первую очередь) и их последствия в самых разных отношениях – человеческом, институциональном и др. Помимо освоения соответствующих предметных социологических конструкций, осуществлялась критическая переоценка концепций и понятий с точки зрения их необходимости и эффективности для анализа или объяснения социальной реальности этих обществ.

Теоретически проблема, стоящая перед Левадой, – если смотреть на нее глазами социолога знания, – заключалась в том, чтобы создать адекватные для анализа советской реальности инструменты<sup>10</sup>. Дело в том, что выработанные западной социологией объяснительные ресурсы были ориентированы на описание наиболее «рационализированных», технологических и институционализированных, «формальных» структур взаимодействия, отождествляемых с «современностью», т. е. на анализ социальной, экономической, правовой организации обществ, завершивших процессы модернизации (которая в основном совпадала с «вестернизацией»). Для других обществ – незавершенной или догоняющей, неклассической, в том числе тоталитарной модернизации – эти категории принимали характер утопических, идеологических, мифологических и т. п. образований, т. е. служили не средствами описания положения вещей, а оказывались компонентами ценностных ориентаций, групповой идентичности (массовой или элитарной), легитимации власти, обоснования статуса или претензий на власть. Это касалось не только таких общих категорий, как «рациональность», «целенаправленность», «эффективность», «индивидуализм», но и предметных конструкций – бюрократии, урбанизации, социального развития, понятия «культура» и т. п.<sup>11</sup> Автоматическое перенесение

<sup>10</sup> «Наука начинается всегда там, где кончается сфера деятельности здравого смысла, где обычный здравый смысл нам ничего больше сказать не может... Человека всегда интересовало и интересует, в основном, как нужно жить, что является нормой в социальных отношениях, что – отклонением от нормы, что добро, зло, красота, правда и т. д. Все это ценностные категории, и в отличие от изучения природы отношение человека к обществу всегда было заинтересованным, ценностным, нормативным...» [Левада 1969, т. 1, с. 31].

<sup>11</sup> Ср.: «Интересна проблема “статусной” метаморфозы подобных конструкций – превращения, скажем, рациональной модели в некий идеологический или мифологический фантом, или, наоборот, редукции какой-нибудь мифологемы утопического сознания до положения позитивно-ограниченной рабочей модели» [Левада 1993б, с. 72]. Сочинения того времени составили большую часть первого раздела сборника «Статьи по социологии» (с. 24–199).

западной терминологии на действительность тоталитарных обществ-государств неизбежно приводит к ложной идентификации разнородных социальных феноменов, в результате которой мы либо имеем дело с мнимыми сущностями, а не с «фактами», либо – в лучшем случае – с негативной идентификацией<sup>12</sup>, когда фиксируется лишь степень несходства или отличий от нормативного образца.

Остановимся на этих моментах подробнее. Сложность аналитической работы заключалась в том, чтобы, отрефлексировав условия возникновения самой теоретической категории и социальную – групповую, институциональную – обусловленность ее использования, контекст ее функционирования, иметь возможность видеть различия ее функций, а следовательно, и особенности структуры самого «человека» как главного элемента общественной системы. Иначе говоря, дилемму соотношения «модели и реальности» следует обсуждать, отталкиваясь от «поздних» ситуаций, в которых «история совпадает с абстракцией (предельно абстрактной моделью)» [Левада 1993б, с. 84], т. е. либо разделяя субъектов действия, описания и объяснения, либо реконструируя генезис понятия и контекст актуального социального поведения<sup>13</sup>. Понятно, что проблематичным это становится сравнительно редко, лишь в особых условиях, как правило, только там, где «исторический перелом как бы вынес на поверхность, обнажил, освободил от наслоений фундаментальные элементы и скрытые пружины всей человеческой деятельности» [Там же, с. 79]. Отсюда берет начало концепция «перелома», «аваланша», распада, играющая важную роль в описаниях «советского человека». Особенность таких исторических ситуаций заключается в том, что «проблемой становится сам человек». В этих условиях «эксплицирование человеческих, антропологических предпосылок социально-экономических систем и процессов приобретает принципиальное значение» [Там же, с. 71].

Этому заключению предшествовала чрезвычайно важная в теоретико-методологическом плане, очень богатая по своему эвристическому потенциалу аналитическая работа по концептуальному моделированию процессов урбанизации и репродуктивных систем обществ, изложенная в нескольких статьях, но очень конспективно (что отчасти объяснялось соображениями проходимости текста через редакцию)<sup>14</sup>. Урбанизация в данном случае была взята не столько как

<sup>12</sup> Следуя этой логике, мы сегодня можем говорить лишь о том, что и «город российский» оказывается не «городом» в европейском смысле, поскольку он не соответствует модели «самоуправляющейся хозяйственной и правовой коммуны», и бюрократия – не «веберовская», далекая от идеальности функционирования профессионально обученного и ответственного прусского чиновничества, и нет «гражданского общества». И принципы социальной стратификации иные, чем в Европе, и «демократия» у нас «суверенная», и т. п. Выходом из этой неразрешимой антиномии может быть лишь понимание того, что язык социологического описания не универсален, что он рождается в определенных социальных обстоятельствах, выступающих в качестве личных проблем исследователей, и дело не в том, чтобы отказаться от общепринятой терминологии, а в том, чтобы понимать логику ее возникновения, детерминацию понятийной работы и границы социологического образования понятий. Заимствованию подлежат не сами средства описания, а принципы их образования.

<sup>13</sup> «Один из самых надежных способов выявить особенности социологического метода в изучении общества состоит, очевидно, в том, чтобы проследить, как этот метод формировался, т. е. выявить “внутреннюю логику” истории социологической мысли» [Левада 1969, т. 1, с. 30].

<sup>14</sup> «Урбанизация как социокультурный процесс» (1974), «К проблеме изменения социального пространства-времени в процессе урбанизации» (1976), «О построении модели репродуктивной системы» (1980). Пер-

пример феноменологии социально-географических процессов определенного типа, сколько как повод представить общую структурно-функциональную модель социального анализа — подход к обществу как к системе организации и воспроизводства сложного общества, а также к пониманию условий его трансформации (= модернизации)<sup>15</sup>.

В этих статьях Левада отработывал основной методологический принцип социологического исследования: анализируя социальную реальность или описывая морфологическую структуру той или иной социальной системы (различного уровня — институционального, группового, социетального), исследователь должен выявлять не только функциональное значение отдельных ее компонентов (их роль в обеспечении целого), но и связывать их с различными наборами культурных смыслов, фиксируемых и воспроизводимых разными элементами институциональной системы и разными способами «записи». Различные по времени способы культурной записи не исчезают, но уступают ведущее место иным типам хранения социальной памяти (традициям, способам социализации, организации социального поведения, ценностно-нормативным системам институтов), подвергаясь при этом переоценке, перекодированию, «переупаковке». Только так они могут сохраняться в культуре. Но это же значит, что имеет место не только вытеснение прежних значений, но и взаимовлияние разных культурных слоев. Иначе говоря, адекватная интерпретация социальной реальности требует принять во внимание и расчет не только само «явление», но и, как говорят феноменологи, «способ данности» этого явления, т. е. подвергнуть теоретической, исторической, генетической рефлексии описательный и объяснительный аппарат исследователя, направленность его теоретико-познавательного интереса, это во-первых, а во-вторых, рассматривать то, как конституировались сами субъективные смыслы действующих в конкретной ситуации (структура и генезис семантики «явления»). Изучению подлежат не только наблюдаемые особенности социального поведения, но и институциональные рамки этого поведения, их генезис (исторические пласты ценностей и норм, определяющих их состав и структуру), доминирующий тип социализации, степень дифференциации и специализации институциональной системы, характер интеграции.

---

вые из указанных работ написаны при участии А.Г. Левинсона и В.М. Долгого (см. [Левада 1993б, с. 24–60; с. 39–49; с. 50–60]. Популярное изложение этих идей см. в [Левада 1976б, с. 29].

<sup>15</sup> «Собственная культура города, а в каком-то смысле и структура всего общества могут быть представлены как производные данного социокультурного процесса» [Левада 1993б, с. 24]. «Формируя пространство человеческого общения, город становится фокусом всего пространства общества. Именно с городом появилась пространственная организация общества в макромасштабах (и сами эти масштабы, разумеется). Характерный показатель такой организации — разделение социокультурных функций центра и периферии общества, а в связи с этим и поляризация определенных линий коммуникации в обществе, появление новой меры социальной дистанции, иерархии и т. д. Другая сторона того же процесса — формирование категорий и мер социального времени <...> Функциями города <...> являются организация социального пространства общества и социализация его временных характеристик. Городская организация общества может поэтому рассматриваться как его морфология, а процесс урбанизации — как морфогенезис общества» [Там же, с. 26, 27]. «Наиболее общая функция города — она же и наиболее фундаментальная — воспроизводство данного типа общественной структуры (или, как принято говорить в культурной антропологии, «поддержание культурного образца»» [Там же, с. 30].



Знаменателен один из промежуточных выводов: «Город, фокусирувавший на ранних стадиях своего развития функции сохранения и интеграции общества, затем функции адаптивные (активное взаимодействие общества и среды в системе производства), ныне становится сосредоточием функций целеполагания, наиболее активной и сложной из всех... В современных условиях “поддержание образца” предполагает сохранение приоритета целеполагания, а это последнее служит необходимой предпосылкой самосохранения общества. Отсюда и прогрессирующее изменение самого соотношения “центра” и “периферии” в фокусируемой городом общественной структуре» [Левада 1993б, с. 33]. В переводе с языка структурно-функциональной парадигмы это означает, что общество с подавленной или деградировавшей политической системой (системой целеполагания) не имеет перспектив в будущем, что тоталитарный или авторитарно-патерналистский режим может сохраняться все с большим трудом, становясь все более и более архаическим, т. е. не имеющим шансов на завершение модернизации. «Повсеместное распространение городского образа жизни, городской иерархии ценностей и т. д. становится реальностью; без сомнения, оно является конкретной перспективой общемирового масштаба. Поскольку современные формы урбанизации при соответствующем развитии транспортных и коммуникативных систем не связаны только с концентрацией огромных масс населения, производства, застройки и т. д., постольку получают развитие многообразные и всепроникающие “рассеянные” ее продукты» [Там же].

Типологически центральные функции общества Левада разделяет (вслед за Т. Парсонсом) на а) инструментальные (целевые ориентации, реализация поставленных целевых задач); б) нормативные (фиксирование нормативно-ценностной системы); в) символические (поддержание механизмов, интегрирующих систему как целое). Различие социокультурных систем предполагает разное социоморфное представление центральных функций (различия определяются в первую очередь шкалой «наличие специализации элементов системы – диффузность функций или отсутствие дифференциации функций»). Чем более жесткой («аскриптивной») является система, тем более выражена ее пространственная «центр-периферическая» структура: центр приобретает исключительно символический характер, нормативные функции воплощаются в управленческой иерархии, а инструментальная деятельность вытесняется на исполнительскую периферию. Этот тип характерен для традиционных или традиционализирующихся обществ, изменяющихся лишь под внешним воздействием или вследствие слома внутренних механизмов, путем адаптации к происходящим переменам, а не путем динамического развития, инноваций, усложнения и специализации своих структурных элементов. Ему противостоит другая возможность развития социальной морфологии, обусловленная «возникновением специфических средств записи культурного текста. В такой модели нормативные функции центра универсально значимы и доступны... Инструментальные же функции иерархизированы, распределены по различным агентам социального действия (индивиды, группы, организации) вплоть до верхнего, социетального уровня организованности общества. Функции центра связываются здесь с «вертикальным» строением

культурного текста»<sup>16</sup>, способного «вместить в принципе неограниченный объем информации». Тем самым в такой организации общества введен принцип ценностного или идейного плюрализма, а значит, сняты ограничения на какие-либо интеллектуальные или смысловые ресурсы, что, собственно, и является предпосылкой интенсивного инновационного процесса в любых областях социальной и культурной деятельности. Известную завершенность этот подход получил в статье «О построении модели репродуктивной системы (проблемы категориального аппарата)», вышедшей через четыре года после «урбанизационного цикла»<sup>17</sup>.

Понятно, что такое схематическое моделирование социокультурных систем представляет собой попытку транспонировать парсоновскую парадигму на материал обществ с запаздывающей или догоняющей модернизацией, где институты, относимые (в соответствии с процедурами аналитических таксономий) к разнофазовым эпохам и состояниям, присутствуют в действительности «одновременно», т. е. выполняют разные функции для разных групп. Чрезвычайно высоко оценивая вклад Т. Парсонса в общесоциологическую теорию<sup>18</sup>, Левада вместе с тем довольно критически относился к тому, что он называл в частных разговорах его «рационалистическими упрощениями», склонностью к плоскому рационализму и утилитаризму: конструирование социальных систем (структур социального взаимодействия) из очень ограниченного набора типов действия. Парсонс в своей теории социального действия использовал лишь два веберовских типа рационального действия: целерациональное действие и ценностно-рациональное, ограничившись в своей трактовке рациональности только этими вариантами.

Строго говоря, сам М. Вебер не считал исчерпывающей ту типологию социальных действий, которую он представил в первой главе своей работы «Хозяйство и общество» и которой обычно ограничиваются социологи (учебники никогда не выходят за ее пределы): целерациональное (у Парсонса — «инструментальное»), ценностно-рациональное, традиционное и аффективное действия. Но для прагматических задач его социологических исследований этой схемы было достаточно, хотя в своих методологических работах он указал на другие возможности идеально-типического конструирования. Более того, его концепция процесса рационализации (неразличения *формальной* и *содержательной* рациональности, а именно *действий рационализации*, ее условий и факторов, т. е. систематического развертывания идей под воздействием определенных социальных интересов) предполагает или даже скорее требует введения разнообразных конструкций рационального действия, не сводимого к чистой инструментальности<sup>19</sup>.

<sup>16</sup> К проблеме изменения социального пространства-времени в процессе урбанизации [Левада 1993б, с. 44].

<sup>17</sup> «Лишь представляя временную организацию РС <репродуктивной системы> как сложную, многоуровневую систему, можно отобразить в концептуальной модели ту структуру, которая создаст возможность фиксировать определенные состояния как прошлые (“привязанные” к соответствующим осям отсчета) и как актуально значимые. Такая структура позволяет обеспечить активное и многократное обращение к культурному содержанию прошлого, интерпретацию и переоценку этого содержания, а тем самым его постоянную актуализацию» [Левада 1993б, с. 59].

<sup>18</sup> Левада считал Т. Парсонса одним из немногих социологов XX в., наделенных «божественной искрой».

<sup>19</sup> См. [Tenbruck 1975, s. 663–699; Гудков 1994, с. 283–287].

Для Парсонса, как и многих других современных социологов, ориентированных на изучение современных западных обществ, рациональность различалась лишь содержательно, по предмету рационального действия, а не по своей структуре<sup>20</sup>. Идентификация инструментальности с рациональностью (за образец берутся прежде всего экономическое поведение и соответствующая конструкция человека — «*homo oeconomicus*») задавала совершенно определенную логику рассуждения: модернизация (самого разного рода) означала не просто прогрессирующую технизацию и специализацию функциональных подсистем общества, но и повышение уровня человеческой свободы, моральный и гуманитарный прогресс и т. д., т. е. все то, что стоит за различными идеологическими утопиями, в том числе — и марксизмом, а значит, и советским тоталитаризмом. Поэтому вполне логичным выглядят следующие шаги Левады-теоретика: критика рациональности экономического человека (включая и экономический детерминизм)<sup>21</sup>.

Статьи этого цикла (сюда входят «Социальные рамки экономического действия» (1980), «Проблема экономической антропологии у К. Маркса» (1983) и «Культурный контекст экономического действия» (1984)) завершились самой важной в этом плане работой, переводящей социологическую теорию действия в другой концептуальный горизонт: «Игровые структуры в системах социального действия» (1984).

Свой разбор Левада начинает с фиксации «общих мест» рассуждений об экономическом действии как специфическом идеале действия как такового, его понятности, мотивационной прозрачности, результативности и проч. Он указывает на то, что с экономической («внутренней») точки зрения экономическое действие, характеризующееся предельной рациональностью, целенаправленностью, способностью к оптимизации и квантификации, представляется «естественным» (= обусловленным «потребностями» и подобными квазиприродными императивами) и «беспредпосылочным» по отношению к социальной системе. «Это значит, что его *нормативно-ценностные параметры* (курсив мой. — Л. Г.) остаются вне поля внимания. Между тем для социологического анализа — предполагая последний достаточно зрелым методологически — рассмотрение таких предпосылок (рамок, контекста) представляет специфическую и постоянную проблему»<sup>22</sup>. Задача, следовательно, заключается в том, чтобы проблематизировать характеристики «очевидности» такого типа действия, представив их как «социальное содержание различных типов человеческих действий и общественных структур, т. е. раскрыть символический смысл эквивалентно-обменных отношений и соответствующих мотиваций». Такая процедура снятия иллюзии самоочевидности

<sup>20</sup> Отчасти такое ограничение поля интереса может быть оправдано тем, что в сложившихся и относительно устойчивых обществах завершённой модернизации (США, Европы) образцы рациональности давно институционализированы, а значит — благодаря процессам массовой социализации — стали всеобщими значимыми (разумеется, в пределах, в которых можно говорить о «всеобщности») вместе с этикой достижения, моральной и правовой культурой, принципами гуманизма, правами человека и т. п. Именно отсюда критики этого общества выводят его «одномерность».

<sup>21</sup> Слово «критика» в данном случае следует понимать именно в кантовском смысле: аналитическое исследование семантического и функционального потенциала понятий, связанных или вытекающих из идеи инструментальной рациональности.

<sup>22</sup> См. [Левада 1993б, с. 88].

оказывается возможной только тогда, когда демонстрируется, что эффект самодой-разумеюшности в соотношении «цель — средства» возникает в результате нормативного ограничения средств для достижения поставленных целей или не менее нормативного санкционирования самих целей относительно используемых средств. Определенно рациональным в данном социально-историческом контексте и данных обстоятельствах признается лишь строго санкционированный выбор цели, выбор средств. Соответственно адекватным их соотношение может расцениваться в данной ситуации только с учетом предполагаемых последствий их выбора и наступления ожидаемых последствий действия. Но такая санкция (групповая, институциональная) возможна лишь тогда, когда сами «исходные» культурные параметры (нормы и ценности, задающие символические значения транзакции) рассматриваются как неизменные, как «небо неподвижных звезд» по отношению к описываемым группам и институтам, что допустимо лишь в качестве аналитических посылок, а не фактического положения вещей. Другими словами, «естественность» структуры экономического действия — продукт довольно поздней идеологизации экономических отношений, с одной стороны, и однозначно трактуемой «культуры» — с другой. Многократно предпринимаемые попытки представить «модель» или «структуру» культуры неизменно оборачивались неудачей, приводя либо к диалектическим играм и сочетанию мнимых сущностей с понятиями теоретического плана, либо выведению за рамки культуры большей части смысловых проявлений и образований.

Поэтому Левада принимает важнейшую посылку: «В самой культурной подсистеме собственные нормативные регуляторы отсутствуют». А это значит, что никаких внешних, социальных механизмов структурирования культурных значений (жесткого и однозначного влияния институтов или групп) не может быть. Соответственно «культуру методологически правильнее было бы представлять не как функционально-организованный механизм» или фиксированный текст, жесткую семантическую структуру, «а как систему значений, приобретающих действенность и смысл (организованность) только в процессе их использования; в этом плане культура аналогична языку» [Левада 1993б, с. 90]. Аналогии с языком (речь и словарный запас, контекст высказывания, контекст понимания, языковой этикет и социально-культурная стратификация и подобные различия) заставляют утверждать, что «семантический потенциал (“поле”) определенной культуры в принципе должен быть существенно большим, чем ее функционирующая часть. Он включает не только явные, но и латентные, не только функционально-полезные, но и дисфункциональные структуры, а также структуры, различающиеся временными параметрами своего действия, и т. д. <...> Потенциальный арсенал культурных значений и структур формируется исторически, временные параметры таких структур по определению несводимы к рамке социально-организованных систем. <...> Отсюда неизбежность противоречивого многообразия культурных структур, способных оказывать воздействие на социально-организованные системы деятельности. Отсюда также и неизбежность активного выбора действующим субъектом (индивидуальным или организованным) культурных ориентиров собственного поведения из набора потенциальных альтернатив» [Там же, с. 89–90].

Задача, следовательно, сводится к тому, чтобы получить концептуальные, теоретические возможности фиксировать то действие, которое совершает актер, «выбирая» ориентиры поведения из множества (логически) возможных. Совершенно очевидно, что для этой цели непригодны все прежние нормативно или идеологически заданные жесткие привязки мотива и результата действия, которые в социальных и экономических дисциплинах обозначались обычно как «потребности», обусловленные социально или биологически, «императивы» существования и т. п. Но точно так же оказываются непригодными и другие общепринятые конструкции действия, принятые в социологии для обозначения связи ценности и нормы, ролевого поведения, мотива или принятых форм действия, выводимого из рамок традиции или обычая, аффективного состояния. Все эти конструкции оказываются слишком «элементарными», не схватывающими принцип и схему подобного действия. Для описания сложных форм поведения приходится *ad hoc* нагромождать сочленения отдельных простых действий или их сочетаний, вводить неverifiedируемые сущности в конструкцию поведения, вроде генетически обусловленных механизмов, паттернов, архетипов или каких-то других внесоциологических ключей, позволяющих связывать инструментальные, нормативные и символические компоненты действия и решать таким громоздким образом задачи временного (в категориях социального и символического времени) и пространственного описания действия.

Левада предложил новый подход к теории действия, разработав схему сложного действия, где актер сам связывает разные плоскости значений — символические, нормативные, институциональные, временные, пространственные — в единую структуру действия. Он назвал ее «игра». Игра — это субъективная (акторская) проекция культурных значений на плоскость социального действия, позволяющая действующему и его партнерам «самостоятельно» структурировать ситуацию и свое поведение (предвидеть, организовать свое поведение, придать ему смысл *в ограниченных рамках* контекстуального целого, устанавливаемых самими игроками или принимаемыми ими в качестве общепринятых правил). Концепция игры была выходом из того тупика, в который, казалось, попал структурный функционализм, критикуемый за недоучет конфликтного потенциала, возможностей развития общества, посылку тождества индивида и социальной системы и др.

Очень многое в критике радикальных социологов порождено явным недоумением, их весьма плоским пониманием структурного функционализма как предметного описания общества, как теории общества, а не как социологической парадигмы (т. е. теоретического конструирования аналитического языка социологии). Но некоторые моменты этого подхода действительно требовали расширения теоретических инструментов анализа и описания. В первую очередь это относилось к проблеме таксономии социального анализа, поскольку связь действия (социальной структуры) с культурной системой трактовалась излишне жестко. Функционализм требовал четкого и однозначного закрепления культурных значений за поведением (через социальные роли, предписываемые нормативные значения и ценности). При этом неизбежно терялась многозначность социального поведения и сознания, возможность выбора действующим различных сценариев и вариантов



действия<sup>23</sup>, исчезала временная (историческая, мифологическая) глубина и гетерогенность культуры, а социальная система приобретала ненужную одномерность. Поведение индивида даже в современных, высокодифференцированных обществах, не говоря уже о меняющихся обществах, странах запаздывающей модернизации или таких, где идут процессы разложения и деградации институциональной системы, не сводится к внешнему соблюдению институциональных правил и норм. В таких случаях концепт «ценностных ориентаций», связывающий разнородные личностные значения, не позволяет эффективно фиксировать противоречащие друг другу и имеющие разное происхождение императивы действия («диспозиции потребностей», ценностей, ролевых наборов и проч.). Возникают не просто ролевые или нормативные конфликты (описание и объяснение которых представляет собой довольно простые в социологическом отношении задачи, решаемые с помощью набора таких понятий, как «институциональные дисфункции», «латентные функции» и какие-то подобные этим ad hoc изобретаемые инструменты), но и принципиально иные формы или механизмы регуляции (обозначаемые, например, в качестве феноменов двоемыслия, неврозов, массовых комплексов). Они описаны в художественной литературе, в психоанализе, социальной психологии, но социология с ними не умеет работать.

Нужны были другие аналитические средства, которые бы связывали институциональные, групповые, культурные и личностные компоненты объяснения поведения. Однако такой подход тянул за собой тезис о разнородности структур регуляции личности и, соответственно, ставил под вопрос идею линейного характера социализации и одномерности сознания. Идея такого рода, как принято считать, была выдвинута З. Фрейдом, но получила у него уж слишком метафизически-инстинктивное толкование, которое социологи много раз пытались переинтерпретировать, сделав разнородные регуляции индивидуального сознания проекцией разных социальных образований (групповых норм и представлений, институтов), усваиваемых в процессе социализации и интернализации.

Для тоталитарного общества подобные проблемы казались незначимыми, неважными, поскольку социальный контроль обеспечивался предельной степенью насилия, принуждения и устрашения; для современных же обществ, озабоченных завершением формирования дифференцированной и специализированной системы институтов, эти вопросы долгое время представлялись второстепенными, мелкими, не заслуживающими внимания. Лишь после работ И. Гофмана, и особенно после долгого периода моды на этнометодологию и микросоциальные ис-

---

<sup>23</sup> Решение, которое в этой кризисной ситуации предложили этнометодологи (Г. Гарфинкель, А. Сикурел и их многочисленные последователи), — исходить из процедур индексации реальности, используемых самими действующими, — было внешне очень эффективным ходом, но в теоретическом плане совершенно ложным, поскольку проблемы и рабочие задачи исследователя (интерпретация и описание форм социального взаимодействия) здесь перекладывались на самих действующих. Именно поэтому практика применения их подхода была очень успешной в ситуациях микросоциального взаимодействия, но оказалась абсолютно стерильной для развития теории социологии. Теоретическая бесплодность этого направления стала причиной ухода этнометодологов с социологической сцены.

следования стало более ясным значение внеинституциональных форм действия, связывающих различные нормативные и ценностные порядки.

Левада несколько раз подходил к решению этой задачи. На ранних стадиях работы это было связано с пересмотром просвещенческой конструкции человека как обусловленной воздействиями среды (в какой-то мере следы этой конструкции можно обнаружить и в структурно-функциональной концепции человека), критической оценкой возможности инструментального воздействия на «природу» человека (а соответственно, и новой точкой зрения на сформировавшегося «советского человека», «человека нового общества», «человека будущего» или массового, тоталитарного, тотально управляемого человека).

Уже в «Лекциях по социологии» Левада вводит идею одновременности отдельных элементов личностной регуляции, индивидуального сознания. Подвергнув критическому анализу романтические и социально- или зоопсихологические подходы к игре, Левада фиксирует важнейшие элементы этой структуры закрытого (или «возвратного», как я бы сказал), т. е. обращенного к самому себе действия, задающего смысл и значения поведения в неопределенном поле возможных ситуаций и альтернатив: *ценностно-ролевая идентификация* («свои – чужие»), «сюжетная» идентификация (*смысл и значение отдельных компонентов поведения внутри целого*) и, наконец, *дифференцированное восприятие всего «целого»* (сюжет обозримого фрагмента действительности, наделяемого смыслом и значением – «война», «экономическая конкуренция», «кокетство», «спортивное состязание», «защита диссертации» как доказательство ученого достоинства, «зрительская демократия», «соперничество супердержав» и проч.). «Игровая структура действия как замкнутая культурно-обособленная форма – категория идеально-типическая; никакой из видов признанного и институционализированного игрового поведения ей полностью не соответствует. В то же время нельзя обнаружить такую форму или сферу человеческой деятельности, которая не испытывала бы влияния игровых структур и которая не могла бы – в определенных узлах – при соответствующих условиях трансформироваться в игровую. Культурно-замкнутое пространство игрового действия не только существует параллельно или на «полях» обычной, «открытой» пространственной структуры общества; оно может появляться (или проявляться) в любой точке такой структуры, более того, служить средством ее организации... Структура игрового действия, вынесенная за пределы (идеально-типической) игры «как таковой», превращается в своего рода рамку, накладываемую на некоторый «поток» событий с явной или неявной целью его упорядочить, т. е. представить в виде какой-то регулярности, рациональности, целостности. Игровая структура в качестве рамки может быть сопоставлена с концептом «предвосхищающей схемы» в когнитивной психологии, где такая схема считается средством подготовки индивида к принятию информации определенного вида. Однако задача – и соответственно структура – игровой рамки более сложна, поскольку она организует не познание, но целый комплекс поведения. *Наиболее общие признаки игровой рамки – представление цепи деятельности как конечной и рациональной* (даже в модели чисто случайной, азартной игры можно усмотреть рациональность методологии «черного ящика»), *упорядоченная и обозримая связь действия и эффекта (достигаемые цели достижимы, возникающие проблемы разрешимы, жертвы вознаграждены*

и т. д.), наконец, как уже отмечалось, — “человеческие” масштабы всех подобных процедур) (курсив мой. — Л. Г.). <...> Само применение подобных рамок означает непереносимое — явное или неявное — обособление определенных сторон реальности (“культурный барьер”), формирование замкнутого социокультурного пространства-времени <...> игрового действия. “Вездесущность” игровых структур объясняется тем, что “замкнутые” фигуры действия — одно из универсальных средств упорядочения, структуризации событийного потока человеческого существования (а лишь будучи упорядоченным, оно выступает как “жизнь”, т. е. как предмет целостного осмысления, ориентирования, проигрывания). Ведь игровое упорядочение (“замыкание”) социальной деятельности не только формирует ее структуру в соответствии с человеческими масштабами и желаниями (как индивидуальными, так и социально-организованными на любых уровнях), но и позволяет постоянно реализовывать эти желания, получая соответствующее мотивационное подкрепление (игра может рассматриваться как очевидный пример “внутренне мотивированного действия”) [Левада 1993б, с. 110–112]. Концепция идеально-типической конструкции сложного (сложносоставного, закрытого) социального действия как условия для работы с антропологическими представлениями в эмпирических социальных науках стала методологическим регулятивом в последующей исследовательской деятельности Ю.А. Левады. Для более тщательной и типологической проработки (например, типологии «игровых структур») уже не осталось времени. Но сам ход оказался очень продуктивным в исследованиях такого «аморфного» объекта, как «общественное мнение», т. е. коллективных представлений, меняющихся в разных «режимах» функционирования власти и общества. Благодаря «игре» проблема человека как базового института приобрела в условиях социального разлома особое значение, уже не только теоретическое, но и моральное, практическое, став условием осмысления возможностей выхода из тоталитарного режима, состояния «общества-государства».

Теоретические работы 1970–1984 г. сделали возможной последующую эмпирическую исследовательскую деятельность<sup>24</sup>. Поэтому Левада очень рано оценил открывающиеся возможности новой, практически ориентированной интеллектуальной работы. Еще в сентябре 1987 г., преодолевая скептицизм и недоверие, даже эмоциональное сопротивление своих сотрудников, он убеждал их, что горбачевская перестройка — это не рокировка номенклатурных старцев, а начало нового исторического периода, требующего принципиально других форм работы, других точек зрения и практического участия. В ситуации «горной лавины» (а в 1988–1991 гг. он воспринимал происходящее именно в таких категориях) поза «теоретика», вздымающего очи горе, была для него не просто смешной, но и отталкивающей<sup>25</sup>.

<sup>24</sup> В этом отношении Левада был одним из немногих, кого социальные перемены 1990-х годов не застали врасплох. Как говорил Мейстер Экхарт, «Бог готов, мы не готовы» [Мейстер Экхарт 1912, с. 52].

<sup>25</sup> Лет десять назад, когда ВЦИОМ еще располагался на Никольской улице, один молодой американский преподаватель социологии задал Ю.А. Леваде вопрос: как бы он определил теоретико-методологические основания своей социологии, к какой школе он себя относит? (вопрашающий был демонстративным сторонником Н. Лумана). Левада засмеялся и переадресовал вопрос мне. Я ответил, что это что-то вроде соединения структурно-функционального анализа и «понимающей» социологии культуры. Левада подумал и сказал, что если нужны какие-то дефиниции, то пусть будет так. Его равнодушие к школьной социологии и классификациям имело, как мне кажется, несколько причин. Первая — отвращение к внешней витрин-

Еще неясны были перспективы и пределы возможного, но Левада уже задумывался об «общем деле». В качестве такого поначалу виделся проект издания интеллектуального журнала<sup>26</sup> (идеи такого рода мы обсуждали осенью 1987 г.), но уже очень скоро он получил предложение от Т.И. Заславской, открывавшее возможности собственноручного эмпирического изучения постсоветской (посттоталитарной) реальности.

Ни у Левады, ни у сотрудников его бывшего сектора в ИКСИ или тех, кто позднее, уже на семинаре, присоединился к его кругу, не было серьезного опыта эмпирических социологических исследований. Но были энтузиазм первооткрывателей, пыл вновь собравшихся вместе близких людей, общие идеи и горячее желание их проверить или разобраться в том, что такое «советское общество-государство». Проблема теоретического рода заключалась в том, что материал исследований был исходно ограничен показателями массовых опросов «общественного мнения», а не институционального или группового поведения. Соответственно анализ социальных фактов или ценностных структур можно было осуществлять только через призму общих коллективных представлений и их динамику. Таких проблем социология прежде не знала, поскольку организация социальных наук в западных странах была принципиально иной.

Преимущества «вциомовской» работы были очевидны: открывалась возможность систематического отслеживания массовых реакций, анализа их состава, интенсивности и т. п. Ни у кого из тех, кто был озабочен большими социологическими проблемами, таких средств научной работы не было (особенно, учитывая перспективы и масштабы предполагаемой работы). Обычно крупные социологи в лучшем случае участвовали в отдельных монографических исследовательских проектах. «Общественным мнением» и его динамикой занимались «демоскописты», маркетологи, но не социологи. Недостатки или, точнее, методические границы открывающихся возможностей (первоначально не столь очевидные) тоже довольно скоро стали ощутимыми: оценивать социальные процессы можно было только в кривом зеркале общественного мнения, организованных коллективных представлений, специфически «искажавших» или преломлявших фактически взаимо-

---

ной стороне своей деятельности (и своей личности; это не скромность, а экзистенциально укорененное отношение к природности, случайности своего существования); вторая, связанная с первой, — он очень торопился «схватить» принципиальные особенности происходящего, зафиксировать какие-то общие черты постсоветской системы, не отвлекаясь на «мелочи» академического теоретического оформления своих взглядов. Вначале это было связано с тем, что мы предполагали (основываясь на предшествующем опыте его сектора в ИКСИ), что предоставившийся нам шанс общей работы во ВЦИОМе продлится не более 3–4 лет, но потом, по мере того как перед ним открывалась вся глубина и масштабность поставленной задачи, сроки работы он соразмерял уже не с социальным временем, а с отпущенным ему временем жизни, отсчитывая его с конца. Третья причина — Левада действительно был лидером, но не авторитарным учителем. В коллективной работе он задавал ценностный и эмоциональный тон, но никогда и никому не навязывал конкретных схем анализа и объяснения, не «разжевывал» своих идей, рассчитывая (иногда без должного основания) на то, что другие «схватят» его замысел и подходы. Многие интересные вещи он лишь «накалывал», наносил на свою внутреннюю «карту проблем», не успевая их систематически развертывать.

<sup>26</sup> В частности, была опубликована серия статей о бюрократии, инициированная Левадой. В основе ее лежали результаты неформального домашнего семинара, доклады и сообщения, которые делались его участниками. Но окончательный вид, общая редакция, концептуальная рамка, естественно, принадлежали Ю.А. Леваде (см. [Гудков и др. 1988; 1989]). Позднее во ВЦИОМе состоялась небольшая международная конференция, посвященная данной тематике, был реализован ряд проектов (массовых опросов).



связи и отношения. Но в тех условиях эти ограничения никого не смущали (отчасти в силу отсутствия соответствующих знаний и туманных представлений о социальной реальности).

Итак, исходным моментом для социологической работы Левады<sup>27</sup> оказывается ситуация крупномасштабного общественного кризиса тоталитарного режима, когда, с одной стороны, «обнажаются» скрытые ранее институциональные механизмы и структуры групповых отношений, а с другой – в этих же условиях разложения старого порядка – вместе с открытыми конфликтами различных группировок во власти, относительным идеологическим плюрализмом и временной автономностью СМИ – начинает формироваться и проявляться совершенно новый институт – «общественное мнение»<sup>28</sup>. Соответственно, рассматривать вопросы изучения трансформации общества (или воспроизводства прежних социальных структур)<sup>29</sup> можно только с учетом структуры и специфики функционирования самого общественного мнения. А это значит, что одновременно должны решаться несколько однопорядковых задач – анализ динамики массовых реакций, выявление их

<sup>27</sup> Регулярно появлявшиеся в «Мониторинге общественного мнения» статьи Левады были собраны в отдельную книгу «От мнений к пониманию» [Левада 2000]. В названии воспроизведен придуманный им девиз ВЦИОМ, затем Аналитического центра Левады). Работы последних шести лет, появлявшиеся в журнале нашего центра – «Вестнике общественного мнения», собраны им в книге «Ищем человека» [Левада 2006]. По проблематике «советского человека» Левада опубликовал, помимо прочего, более 25 статей.

<sup>28</sup> «Общественное мнение не может служить или казаться средством конкретного социального действия. Чтобы стать общественной силой, общественное мнение должно быть организовано, причем не только «извне» (гражданские свободы, СМИ, политический плюрализм, лидеры-идолы и т. д.), но и «изнутри», в смысле самого «языка» общественного мнения (символы, стереотипы, комплексы значений и средств выражения)» [Левада 2000, с. 216–217]. «Наиболее общей функцией общественного мнения как института принято считать поддержание социально одобряемых норм поведения массового человека в массовом обществе. Он беден и тем удобен для массового общения» [Там же, с. 218]. «В поле общественного мнения человек находит: а) «язык» выражения (оформления, формирования) своих оценок и взглядов; б) группу «своих»; в) кодекс общепринятых нормативных стандартов такого выражения; д) «зеркало», показывающее соответствие поведения человека этим стандартам» [Там же, с. 220]. «Общественное мнение непосредственно оперирует не с «вещами» и явлениями социальной жизни, а с представляющими их знаками или символами... Глубина или объем памяти этой коммуникативной структуры весьма ограничен. Никакая теория, идеологическая или религиозная система в ней не может уместиться, поэтому общественное мнение оперирует с приметными символами таких систем. Подобная роль символов иногда вырабатывается долгим историческим опытом, иногда приписывается им искусственно» [Левада 2006, с. 187].

<sup>29</sup> «Две ключевые проблемы подхода к анализу возможных перспектив интересующего нас феномена – понимание исходного, нынешнего его состояния (т. е. «массового» человека в современной российской ситуации) и адекватная характеристика механизма или, по крайней мере, парадигмы его возможных трансформаций. Приходится преодолевать соблазн «простейших» вариантов – например, экстраполяции нынешнего образца в отдаленное будущее, конструкции желаемого (утопического) социально-антропологического типа, рационального процесса совершенствования наличного человеческого материала, воспроизводства в отечественных условиях стадий и форм развития, пройденных ранее другими общественными системами, а также различных вариантов реверсивных (попятных) или циклических трансформаций. Какие-то элементы подобных вариантов можно обнаружить в том числе и с помощью массовых опросов. Но никакого единого механизма изменений – будь то экономический (в духе концепций экономического или технологического детерминизма – даже при самом фантастическом технико-экономическом прогрессе в наступившем столетии), нравственный, глобализующий или иной – обнаружить не удастся и, скорее всего, не удастся. Остается внимательное рассмотрение действующих, а также ушедших в прошлое и формирующихся «фигур» общественных перемен с помощью имеющегося эмпирического и мыслительного материала» [Там же, с. 274].



структуры и функций, устойчивых и переменных компонентов. Методологическая проблема заключалась прежде всего в том, чтобы обеспечить единство социологической интерпретации различных в содержательном плане феноменов, соединить их общими теоретическими и концептуальными «стыками» и «переходами», удержав тем самым социологическое видение проблематики. Ключом, объединяющим разные плоскости исследовательских задач и содержательных интерпретаций, могла в этих обстоятельствах быть только концепция социального типа «человека», связывающая разные теоретические ресурсы описания и объяснения (стереотипы и комплексы общественного мнения, идентификация с институтами, группами, соответственно, определение общих рамок действия, представления о времени и пространстве, включая будущее и прошлое, набор ценностей, механизмы адаптации или изменений — в ходе смены поколений или «героических» усилий «элиты», фобии, страхи, коллективные ритуалы). Такой моделью стал «советский человек», или, позднее, генетически непосредственно связанный с ним «постсоветский, российский» («обыкновенный», «средний») человек.

«Советский человек» понимается Левадой как идеально-типическая конструкция человека, представляющая сложный набор взаимосвязанных характеристик, которые связывают и социальную систему (институционально регулируемое поведение), и сферу символически-смыслового производства (социокультурные образцы, паттерны поведения и ориентаций). Они подкреплены соответствующими механизмами социального контроля, а значит, набором различных санкций и гратификаций. По мысли Левады, этот тип человека должен находиться в ряду таких моделей, как «человек играющий», «человек экономический», «авторитарная личность», а не этнических образов или характеров, поскольку этот тип имеет *парадигмальное значение для целых эпох незападных вариантов модернизации и разложения тоталитарных режимов.*

Речь идет о *нормативном образце*, длительное время оказывавшем влияние на поведение значительных масс тоталитарного общества. Было бы слишком большим упрощением полагать, что навязываемый пропагандой, поддерживаемый различными репрессивными структурами и институтами социализации (школой, армией, СМИ), этот образец человека принимался «обществом» и усваивался в полном соответствии с интенциями власти<sup>30</sup>. Воздействие этого рода было неоднозначным, поскольку сам образец представлял собой сочетание неоднозначных, различных по происхождению элементов и комплексов, а его трансляция осуществлялась не только через официальные каналы и структуры социализации, но и через неформальные отношения (групповое принуждение, коллективное заложничество, конформистское единомыслие, общность фобий и предрасудков). Это и структура массовой идентификации и коллективной интеграции, обеспечивающей солидарность с властью, и утверждение общих ценностей, и набор массовых самооценок и мнений о самих себе, а также принудительное, демонстративное изображение того, что хотела бы видеть власть, декларативное принятие ее требований и одновременно лукавое, или рабское, подыгрывание ей.

<sup>30</sup> Такова идея оккупационной власти, разделяемая многими критиками коммунизма.

Несмотря на то что нереалистичность этих требований осознавалась людьми, сам по себе образец фиксировал и организовывал их надежды, ожидания, ориентации.

Влияние этого образца человека не сводилось только к прямому синхронному воздействию. В долгосрочной перспективе следует учитывать более сложные последствия его принятия, отвержения или трансформации отдельных составляющих (например, последствий подавления разнообразия, кастрации социальной, культурной и интеллектуальной элиты, состояния безальтернативности власти, отсутствия политического выбора, нарастания апатии и аморализма в обществе и др.).

Основу образца составляют:

*исключительность* или *особость* «нашего» (советского, русского) человека, его превосходство над другими народами, или, по меньшей мере, — несопоставимость его с другими;

его «*принадлежность*» *государству* (взаимозависимость социального инфантилизма — ожиданий «отеческой заботы от начальства» — и контроля над собой, принятие произвола властей как должного);

*уравнительные*, антиэлитарные установки;

*соединение превосходства с ущемленностью* (комплекс неполноценности).

Важно отметить, что каждая из этих характеристик представляет собой механизм управления антиномическими по своему происхождению или сфере бытования ценностными значениями, сочетание взаимоисключающих самоопределений или норм действия, придающих всему образцу неустранимый характер двоемыслия. Функциональная роль этого образца, собственно, и заключается в том, чтобы соединить несоединимое: официозный пафос героического служения и самопожертвования и принудительный аскетизм («жила бы страна родная и нету других забот», как утверждалось в песне из фильма конца 1950-х годов), политику форсированной модернизации «сверху», проводимую исключительно в интересах властной группировки, обживание репрессивного режима и системы, претендующей на тотальный контроль над повседневной жизнью общества, состояние искусственной бедности, оборачивающейся индивидуальной незаинтересованностью в результатах работы, имперскую спесь и дефектность этнической идентичности (комплексы национальной неполноценности).

Ю.А. Левада следующим образом определяет основные черты советского человека: принудительная самоизоляция, государственный патернализм, эгалитаристская иерархия, имперский синдром. Такой набор характеристик свидетельствует «скорее об определенной принадлежности человека системе ограничений, чем о его действиях. Отличительные черты советского человека — его принадлежность социальной системе, режиму, его способность принять систему, но не его активность». Советский человек — «это *массовидный* человек (“как все”), деиндивидуализированный, противопоставленный всему элитарному и своеобразному, “прозрачный” (т. е. доступный для контроля сверху), примитивный по запросам (уровень выживания), созданный раз и навсегда и далее неизменяемый, легко управляемый (на деле — подчиняющийся примитивному механизму управления.

Все эти характеристики относятся к лозунгу, проекту, социальной норме, и в то же время — это реальные характеристики поведенческих структур общества»<sup>31</sup>.

«Правильный» советский человек не может представить себе ничего, что находилось бы вне государства. Для него негосударственные медицина, образование, наука, литература, экономика, производство и т. д. — или просто невозможные вещи, или — как это стало уже в постсоветские времена — нелегитимные, или дефектные институции. Он целиком принадлежит государству, это государственно зависимый человек, привычно ориентированный на те формы вознаграждения и социального контроля, которые исходят только от государства, причем государства не в европейском смысле (государства как отдельного от общества института), а пытающегося быть «тотальным», т. е. стремящегося охватывать все стороны существования человека, играть в отношении него патерналистскую, попечительскую и воспитательную роль. Но одновременно он знает, что реальное государство его обязательно обманет, «наколет», не даст что-то даже из того, что ему «положено по закону», будет всячески стараться выжать из него все, что можно, оставив ему минимальный объем средств для выживания. Поэтому он считает себя вправе уклоняться от того, что от него требует власть (халтурит, поворовывает, избегает разного рода повинностей). По-настоящему он озабочен только тем, что может быть важным для собственного благополучия или для его семьи.

Такого рода асимметрия отношений государства и человека (подданного) означает, что полнотой дееспособности, символической значимости, права обладает только власть или вышестоящее начальство, тогда как сам человек лишен права голоса, способов выражения своих интересов, представлений. «Власть лучше знает, как надо для всех». Но это поверхностный взгляд. Более глубокое понимание этого человека заключается в том, что как власть пытается манипулировать населением, так и население, в свою очередь, управляет государством, пользуясь его ресурсами, покупая его чиновников для своих нужд. Это симбиоз принуждения и адаптации к нему. Генетически это человек мобилизационного, милитаризованного и закрытого репрессивного общества, интеграция которого обеспечивается такими факторами, как внешние и внутренние враги, а значит, признание (хотя бы отчасти) оправданности требований лояльности власти, «защищающей» население от них, привычность государственного контроля (отсутствие возмущения или недовольства) над поведением обывателей во всех сферах жизни, привычка последних к самоограничению (принудительный аскетизм потребительских запросов и жизненных планов).

В отличие от европейского массового человека, этот тип разделяет эгалитаристские нормы, но понимает их как нормы антиэлитарные, снижающе-уравнилельные установки (ориентация не на возвышение и приближение к образцу, пусть даже в качестве подражания высшим слоям, «сливкам общества», культивирующим особый тип достоинства, на присвоение образцов «аристократии» или «меритократии», а на понижение запросов, санкционирование «общепринятого» в каче-

<sup>31</sup> Хотя Левада считает, что «советский человек» в полном виде представлен лишь в одном поколении советских людей, рождения примерно 1920-х годов, практически ушедшем в настоящее время, тем не менее, этот тип охватывает гораздо больший период времени, чем это казалось нам в начале 1990-х годов [Левада 2005а, с. 39–60].

стве вульгарного или примитивного — «будь попроще и люди потянутся к тебе». Доминирующие латентные мотивы этого эгалитаризма — зависть, рессантимент, в свое время идеологически оправдываемый и раздуваемый большевиками, но сегодня все чаще принимающий формы цинизма, диффузной агрессии, вызванной последствиями вынужденной или принудительной коллективности. Результат — массовость без присущей западной культуре сложности и дифференциации. «Простота» в самоопределениях — это вовсе не открытость миру и готовность к его принятию, а примитивность социального устройства, отсутствие посредников между государством и человеком. «Человек советский» вынужден и приучен следовать и принимать в расчет только очень упрощенные, даже примитивные образцы и стратегии существования, но принимать их в качестве безальтернативных («немногое, но для всех»)<sup>32</sup>.

Ориентация на «простоту» является результатом культурно признанной и социально (нормативно) одобряемой стратегии выживания, минимизации запросов, сочетаемой с завистью, рессантиментом, с одной стороны, и пассивной мечтательностью и верой, что в будущем жизнь каким-то образом улучшится — с другой. В случае недостаточной значимости этих компонентов их «дополняют» угрозы репрессий, распространяющихся уже не только на индивида, попавшего под подозрение, а на всех, связанных с ним (действует механизм нормативного коллективного принуждения или заложничества — «все в ответе за каждого», парализующего возможность становления активной и ответственной личности западного типа — важнейшей предпосылки модернизации), причем это заложничество охватывает все сферы взаимоотношений — семейные, рабоче-профессиональные, учебные и проч. Однако тотальным претензиям власти (или коллектива) на полноту контроля противостоит не менее сильная ответная реакция — тенденция к партикуляристскому разграничению социального и культурного пространства и образованию отдельных частных зон доверия, неформальной регуляции, правил поведения, систем коммуникации. Различные *внутренние и внешние барьеры* социального действия приобретают здесь особую, конститутивную для структуры общества роль, включая и неприятие субъективности, своеобразного, подозрительность к другим, отчужденность, различные формы дистанцирования или вытеснения всего непонятного или сложного. Так как основой ориентации в мире и понимания происходящего являются самые примитивные (самые общие и стертые, доступные всем) символические модели поведения<sup>33</sup>, то схемами интерпретации и оценки социальной, политической, экономической или исторической реальности для обычного человека («большинства», «такого, как все») могут выступать только недифферен-

<sup>32</sup> См. перечисление типов социальных «игр» советского человека («забота», «сопричастность», «согласие», «работа», «единодушие» и др.) в разделах «Искушение простотой» и «Игра на проигрыш» [Левада 1993а, с. 24–26, 30–32].

<sup>33</sup> «Символы упрощают реальность, избавляют человека от необходимости самостоятельно в ней разбираться, поэтому служат инструментами “автоматизации” социальных действий. Только так можно привести в действие сложные цепи межличностных взаимодействий, которые не способны переработать никакое индивидуальное сознание, тем более за время перехода к необходимому действию. Огромное большинство повседневных и массовых акций “запускается” с помощью триггерных символических структур» [Левада 2006, с. 188]. Подробнее о мифах как регуляторах массового сознания (общественного мнения), периодизации советских и постсоветских символов и мифов см. в статье «Люди и символы» [Там же, с. 187–201].

цированные в ролевом плане, а значит *персонифицируемые* отношения. Персонификация в социологическом смысле выступает симптомом блокировки универсализма, а значит, признаком традиционализма или его современных аналогов. Неизбежные социальные различия закрепляются в виде статусных различий, общественная жизнь приобретает характер множества закрытых для непосвященных пространств действия, изолированных друг от друга, внутри которых удерживается относительная гомогенность льгот и привилегий. Поэтому эгалитаризм советского или российского человека имеет очень специфический характер – это «иерархический эгалитаризм»<sup>34</sup>.

Определяя общественное мнение как социальный институт (как структурированный процесс массовых реакций, полученных в массовых опросах), Левада методологически определяет три плоскости анализа (интерпретаций) материалов опросов:

1. *Символический план* или уровень значений социального поведения. В массовых представлениях выделяются различные атрибуты «общественного мнения» – стереотипы и символические компоненты (символ = знак знаков), осуществляется разбор идеологических клише, ценностных комплексов, опорных моментов массовой памяти, что используется в актуальной социально-политической борьбе с группами, партиями и властными кланами. Символы структурируют смысловое пространство общества, что в функциональном плане является более важным, чем обеспечение «собственно материальных интересов»: вне символической системы референций реальные события или изменения не воспринимаются или проходят незамеченными массовым человеком, поскольку не получают своего значения, не вписываются в общую картину реальности<sup>35</sup>. Символические компоненты определяют характеристики массовых надежд, «истину и правду», параметры общественного «доверия», конституирующие узловые моменты мотивации социального поведения. Сюда же можно отнести выявление и последующий разбор Левадой функций мифологических форм в организации и структурировании общественного мнения<sup>36</sup>, а также значения иерархии, социальной стратификации и т. д.

<sup>34</sup> «...фактор, структурирующий вертикально советское общество, – мера допущенности к властным привилегиям и сопутствующим им информационным, потребительским и прочим дефицитам» [Левада 1993а, с. 19].

<sup>35</sup> Наиболее полно проблематика функций символических компонентов рассматривается Левадой на примерах разложения имперского комплекса и его радикалов (неполноценности, ущемленности и проч.); символики и мифологии власти, «поиска поводыря» общественным мнением (тема «Элита и масса»), «обрядоверии» и двусмысленности массовой религиозной идентификации. Здесь Левада продолжает свои давние изыскания по мифологическому сознанию, опираясь в теоретическом плане прежде всего на идеи Э. Дюркгейма и М. Вебера. Определяющее значение для него имеет различие мифа и ритуала, ритуала и церемониала, типы ритуалов и церемониалов, воспроизведение архаической, мифологической основы ритуала в современных условиях, когда исчезли базовые значения «сакрального», но остались их функциональные суррогаты и аналоги (державный стиль, телевизионные инсценировки, электоральные акции и проч.).

<sup>36</sup> «Дефинитивная функция символа – обозначать некий предмет – не единственная и даже часто не основная. Обращение к символическим конструкциям упрощает отношение человека к социальной реальности, избавляет его от самостоятельных усилий понимания, оценки и проч., используется как доказательство лояльности по отношению к какой-то традиции, идеологии, социальной группе или институту» [Левада 2006, с. 197].



2. *Нормативный план* — здесь наиболее важны работы Левады по фиксации партикуляризма этических правил и предписаний, резко расходящихся с декларируемым универсализмом ценностей, права и т. п. Диагностируя подобные расхождения, Левада говорит не столько о кризисе нравственности или об ослаблении социального контроля, сколько об одновременном обесценивании норм, производном состоянии от действия многообразных и противоречащих друг другу нормативных порядков, характерных для социального перелома и гетерогенных экономических отношений. Он подчеркивает, что не всякое сочетание разнородных императивов ведет к аномии, а лишь такое, в котором подавлены, т. е. неразвиты, механизмы универсалистских регулятивов. Поэтому речь при анализе российской действительности должна идти не столько об эрозии морали российского человека и общества, сколько об институционализированном лицемерии (двоемыслии) или о массовом цинизме, оказывающихся следствием вынужденной адаптации к патернализму власти, к репрессивному режиму советского типа, в котором не остается места для морального выбора или личной ответственности. Разложение нормативной системы исследуется, прежде всего, на материале коррупции, «человека коррумпированного» (в особенности — внутренней, личностной коррупции, игры человека в подкуп с самим собой); отдельная тема — сервильность и деградация элиты, лишаящая общество идеальных образцов и ориентиров<sup>37</sup>.

<sup>37</sup> «Феномен коррупции представляется довольно сложным и — по крайней мере, потенциально — всепроникающим... Регулярное экономическое поведение в принципе строится по универсально применимым образцам. Коррупционная сделка, в отличие от такого образца, всегда строится на краткосрочных, моментальных и сугубо партикулярных интересах участников... Она всегда нарушает или обходит общепринятые нормы и чужие интересы... Коррупционная сделка играет роль дополнительного механизма (триггера, включателя), который приводит в движение, направляет или тормозит какие-то потоки социально востребованных благ, услуг, действий... Корруптивная сделка всегда организована «вертикально», потому что по своему определению она предполагает «нормативный переход», нарушение установленной нормы, запрета, привычки. Адресатом коммерческого или политического соблазна может быть, естественно, только группа, не имеющая устойчивых склонностей или соответствующих антипатий, — та самая середина, «болото» — которая может создать необходимый перевес, особенно в ситуации «сумеречного» массового выбора при отсутствии устоявшихся политических симпатий, неясности ориентиров. Популистская политика, столь часто востребуемая в электоральные и кризисные периоды — рассчитанная на соблазн (или запугивание), на использование массовых, чаще всего не слишком возвышенных страстей, — типичный пример массового политического подкупа. Одна из особенностей его механизма в том, что он направлен не столько на какое-то множество людей, сколько на создание такой общественной атмосферы (восторга или страха — не столь важно), в которой с большей вероятностью люди склоняются к требуемому от них варианту поведения. Массовый подкуп, как экономический, так и политический, как и любая иная корруптивная сделка — транзакция «о двух концах»... Если одна сторона («сверху») стремится подкупить, то вторая («снизу») надеется «откупиться» от излишних претензий, сохранить что-то свое и т. д. — по всем правилам «лукавого двоемыслия»... Все и всяческие формы корруптивных сделок и связей приобретают большой размах и значение преимущественно в переломные эпохи и в пограничных средах общественных отношений — там, где ослаблены «обычные» взаимосвязи между личными и официальными, корпоративными и государственными, локальными и центральными интересами. Коррупция неизбежно растет — и обращает на себя внимание — в переходных исторических ситуациях, когда длительное время сосуществуют разные нормативно-ценностные системы, когда «старые» уже дискредитированы, а «новые» не утвердились достаточно прочно. Причем, что особенно важно, это относится не только к внешним (правовым, полицейским) системам социального контроля, но и к «внутренним» (нравственным, личностным) регуляторам поведения» [Левада 2006, с. 235–237, 239].

3. *Прагматический* (или инструментальный) *план* — охватывает данные различного рода, касающиеся массовых свидетельств людей о своем собственном поведении или поведении других (потреблении, доходах, самочувствии, эмоциональном состоянии, мобильности, политических установках и голосовании, образовании, статусе и проч.). Важнейшие выводы, которые делает Левада, разбирая показатели этого условного плана, сводятся к следующему: поведение действующих лиц в рамках сохраняющихся или лишь внешне модифицированных институтов носит вынужденный характер, будь то очень узкий коридор возможностей, открывающихся перед «власть предержащими», или принудительная адаптация к изменениям большинства населения, не имеющего представления о «новом» (ценностях, целях, стандартах жизни). И у тех, и у других имеет место чаще всего выбор снижающихся вариантов поведения. У причастных к власти, политиков — это склонность к самым примитивным моделям политического действия (главным образом, это беспринципная борьба временщиков и имитаторов прежнего стиля господства за самосохранение), проведение консервативной политики, это сервильность элиты, обслуживающей власть, ее самостерилизация, неспособность на инновационную политику или постановку новых целей национального развития. У массы, привязанной к государству, — это всегда тактика приспособления к произволу власти; стратегия выживания, основанная на удовлетворенности жизнью, обеспечиваемой низким (или даже снижающимся) уровнем запросов, отсутствием повышающих представлений. Левада описывает рациональность сохраняющейся пассивной адаптации населения, фиксируя изменения в массовых ценностных ориентациях, появление других моделей или стандартов образа жизни, не сопровождающихся, однако, изменениями нравственных и личностных характеристик человека.

При таком подходе важнейшее методологическое значение приобретает сам концепт «игры», игровые структуры сложного социального действия. Понятие «игровой структуры действия» связывает разные плоскости анализа — символическую (область культурных представлений, ценностей и мифов) с нормативной (институциональными или групповыми предписаниями, моральными представлениями о должном и допустимом) и практическими мотивами повседневного поведения (семейного, группового, политического, экономического). Применительно к задачам эмпирического исследования (интерпретации его результатов) использование данного понятия предполагает наложение этой схемы на материал, позволяет увидеть и выделить разные содержательные фрагменты реальности, структурируемые с позиций действующего. Благодаря фиксации модальных барьеров разного типа (внутренних, внешних: разделение на «свое/чужое», «мы/они», «участие/неучастие», «далекое/близкое», «нормальное/экстраординарное», «показываемое/обязывающее к ответственности») возникает относительно замкнутое смысловое единство — «сюжетность», устанавливается пространство действия, организованность реальности для действующего. Только *внутри* этих зон смысловой субъективной или коллективной упорядоченности становятся значимыми в теоретическом отношении групповые или частные интересы, системы gratification, надежды или страхи, и проч. Только внутри них можно говорить об эмоциональных балансах, фобиях, массовых комплексах, фрустрациях, рамках

референтности, а значит, выявлять представления о качестве жизни, относительной депривации, потолке запросов, политических ожиданиях и установках.

Но существуют и другие важные особенности работы Левады как социолога. Каждая из больших, выделяемых Левадой проблем (анализ структуры общественного мнения или динамики массовых реакций), предполагала включение нескольких систематических рамок ее рассмотрения. Эти рамки (система пространственно-временных координат или рамки соотнесения) задавались несколькими внутренними методическими приемами или «требованиями» к последовательной работе. Прежде всего, необходимо было включать в анализ несколько уровней временных состояний (домодерное прошлое, особенности российского процесса модернизации<sup>38</sup>, время перемен последних лет, локальное время анализируемых изменений — реакции на актуальные события). Таким образом, рассматриваемое явление помещалось в оптическое поле, конституированное различными типами времени — не только социальным (измеряемым институциональными ритмами выполняемых функций или групповыми действиями), но и культурным (изменения ценностных и символических структур, проявляющиеся в реконфигурациях антропологических типов и характеристик). Это придавало самому предмету необычайную «объемность», возбуждая тем самым продуктивное воображение читателя, получающего возможность самостоятельно проследить цепочки смысловых следствий и связей. «Параметры социальных событий как во времени, так и в пространстве не могут ограничиваться непосредственными последствиями, намерениями участников, региональными масштабами конкретного конфликта и т. п. Определяющим служит значение событий, их место в процессах более широкого плана. В данном случае такими параметрами служат *историческое время и общемировое, глобальное пространство*» [Левада 2006, с. 115]<sup>39</sup>. Кроме того, Левада увеличивал возможности анализа указанием на потенциал структурно-

<sup>38</sup> В данном случае это не схема и не результаты процесса, а лишь указание на общую направленность изменений.

<sup>39</sup> В другом месте Левада пишет: «Одна из весьма важных особенностей российской истории — наложение разновременных социальных, социокультурных, социально-политических структур. Отсюда многослойность, как бы протяженность во всех направлениях — “вдаль” (территория для России всегда имела социальные и исторические измерения) и “вглубь” социального и человеческого материала, испытывающего воздействие преобразующих и разрушающих факторов. В этой толще меркнут и гаснут, трансформируются любые импульсы перемен, на любой тип действия находится соответствующая форма противодействия, преимущественно пассивного, адаптивного. В итоге “понижающий трансформатор” работает на всех уровнях, приспособляя импульсы перемен, откуда бы они ни исходили, к существующему образу жизни и сознания. Это относится и к “массе” (многочисленные “низовые”, по характеру жизни наиболее косные слои) и к разнообразным группам элиты — консервативным, прогрессистским, эгоистическим и проч. И, разумеется, к бесконечной российской “глубинке”, отнюдь не только пространственной. Поэтому, в частности, в России никогда не были возможными эффективные (соответствующие каким бы то ни было замыслам и планам) изменения “сверху” — каждая волна перемен, навязанных волей власти или стечением обстоятельств, переходя от одного временного слоя к другому, от центра к периферии, трансформировалась многократно, создавая как очаги молчаливого сопротивления, так и многообразные формы мимикрии и приспособления к переменчивым обстоятельствам. Сопротивление любым переменам (независимо от их направленности) в России всегда опиралось прежде всего на эту инерцию социального и человеческого “материала”, в меньшей мере — на чье-то заинтересованное или привычное противодействие... Позднейшие фольклорно-политические вариации “хотели как лучше, и т. д.” разрабатывают ту же извечную модель» [Левада 2006, с. 276].

мифологической интерпретации, что предполагало учет таких игровых структур общественного мнения, как, например, идентификационные композиции — грехопадения, жертвы, героизма, сотворения мира — преодоления хаоса, противостояния «своих» (светлого начала) «чужим» (значениям злого и пугающего), установления внутренних и внешних барьеров и проч.

Другим (аналогичным в методическом смысле) требованием было помещение рассматриваемого явления в несколько социальных пространств — соотношение центра и периферии (их различного функционального значения), России и ближнего зарубежья, России и западноевропейских стран, России и США, России и ООН, внутрироссийских и мировых событий<sup>40</sup>.

### **«Человек советский» в условиях деградации советских институтов**

Модель «советского человека», описанная по результатам первого исследования 1989 г. в ситуации краха советского режима, нуждалась не просто в дальнейшей проверке (насколько устойчивы ее элементы в отдельности и в целом сама система), но и в выяснении ряда вопросов: как ведет себя этот человек в ситуации рутинизации исторического перелома, разложения закрытого, уставшего от постоянного режима мобилизации общества, не имеющего позитивных ориентиров и целей, общества с негативной идентичностью. Поэтому усилия и самого Левады, и исследователей, группировавшихся вокруг него, были сосредоточены на изучении разных институциональных условий сохранения «человека советского» и разных состояний, в которых он проявлялся (человек энтузиастический, обыкновенный,

<sup>40</sup> «Запоздалая или “догоняющая” модернизация нигде и никогда не напоминала в XX в. плавный эволюционный процесс освоения достижений мирового прогресса на благо населения новых или обновленных государств. Использование определенных (прежде всего военно-промышленных или просто “оружейных”) достижений западной цивилизации традиционными общественными системами, выход на поверхность новых национальных, клановых, религиозных разделений и амбиций, массовое нетерпение, а иногда еще и революционный авантюризм, — все эти факторы неизбежно придавали общественному развитию, если рассматривать его в глобальных масштабах ушедшего столетия, конвульсивный и болезненный характер. Практически все “догоняющие” страны и регионы воспроизводили не “рациональную”, а “иррациональную” составляющую европейской модели, т. е. скорее ее катаклизмы, чем ее преимущества. Вопреки всем расчетам прогрессистов и социалистов утопического периода (XIX в.) новые национальные консолидации и разграничения приобрели больший вес, чем классовые или идеологические. Одна из ошибок либералов и социалистов заключалась в том, что они считали нацию пережиточной, традиционной структурой, которая отмирает или теряет значение в модернизационных процессах. На деле же современные национальные консолидации, разграничения, символы, противопоставления, затрагивающие массовые переживания и комплексы, — неизбежные продукты модернизации на определенных (“формирующих”) ее этапах. Точно так же как транснациональные образования на более поздних этапах. В Европе ситуация стала изменяться в пользу новой интеграции лишь к концу XX в., но положение во многих “догоняющих” странах (Азии, Африки) скорее осложнилось. Новые государства, избавляясь от колониализма, утверждают себя самым простым способом — противопоставлением “Западу” (а сейчас еще и “глобализму”)... Другая важная черта “догоняющих” обществ — неравномерность, разрыв во времени технических, экономических, социальных, политических, нравственных процессов. Отсюда парадоксальные сочетания разнопорядковых структур. Вопреки иллюзиям экономического детерминизма во многих странах традиционные диктатуры или деспотии в условиях привнесшего или милитаризованного экономического роста укреплялись, а то и уступали место не менее деспотическим и диктаторским “освободительным” режимам. Все эти “завихрения” прогресса Россия испытала, освоила, и — по всей видимости — до сих пор не преодолела» [Левада 2006, с. 275].



ностальгический, ограниченный, коррумпированный, протестный и др.)<sup>41</sup>. К этому примыкает разбор некоторых механизмов, посредством которых обеспечивается целостность его идентичности: комплекс жертвы, структура исторической памяти, символы прошлого и исторические рамки самоопределения, феномены негативной мобилизации, астенический синдром, функции разнообразных «врагов» и динамика фобий, значение имитации большого стиля для поддержания основных ценностных образцов, роль институтов насилия и их трансформация, специфика существующей системы образования и др.

Крах советской системы, вызванный невозможностью воспроизводства высшего уровня управления, не затронул кардинальных оснований этого обществогосударства. Распад системы выразился, прежде всего, в «верхушечной» борьбе различных фракций, второго и третьего эшелонов номенклатуры. Предопределенность кризисов в подобных тоталитарных режимах вызвана отсутствием институционально упорядоченных и урегулированных правил передачи власти, точнее — их принципиальной недопустимостью, невозможностью для власти, которая сама по себе конституирует социальный порядок, контролирует население, не будучи в свою очередь ничем ограниченной. Поэтому каждый цикл тоталитарных режимов определяется сроком жизни очередного диктатора (или, как пишет Левада, «короткими рядами традиции» [Левада 2007, с. 5]). Попытки ограничения террора в условиях тоталитарного режима оборачиваются замедлением вертикальной мобильности и скрытыми процессами децентрализации, латентной апроприации властных позиций, что создает сильнейшие напряжения на нижележащих уровнях управления. В этом плане дефекты в репродуктивных структурах власти неизбежно вызывают периодические политические кризисы, поколенческие смены кадрового состава управляющего верха. Раскол в верхнем эшелоне управления ведет к разрушению партийно-государственной монополии, появлению, условно говоря, «дефектных» или «маргинальных» лидеров (вроде Горбачева или Ельцина) и общему параличу и разложению номенклатуры. Однако дисфункции верхов или даже распад системы институтов не должны отождествляться с крахом самих институтов: значительная часть базовых институтов сохранилась или подверглась минимальным, почти косметическим изменениям, переименованиям и т. п. А это значит, что воспроизводятся основные условия существования человека, постепенно привыкающего к переменам, «обживающего» их на свой лад. Именно характер и особенности массовой адаптации (протекающей без изменения ценностей, символов, участия, структур мотивации) указывают на подавление процессов социально-структурной, функциональной дифференциации, нейтрализацию условий для автономизации ведущих групп общества и их ценностей. Попытки восстановить централизованный государственный контроль в прежнем объеме без сопутствующих социальных механизмов (террора тотальной, т. е. не имеющей каких-либо зон ограничений, политической полиции, насаждения единой идеологии, атмосферы страха) невозможны, поскольку без обращения к ним нельзя

<sup>41</sup> После 2000 г., когда вышла книга «От мнений к пониманию», Ю.А. Левада опубликовал, помимо прочего, более 20 статей по проблематике «советского человека». Работы последних шести лет по этой тематике, регулярно появлявшиеся в журнале нашего центра «Вестник общественного мнения», собраны им в книге «Ищем человека» [Левада 2006].



подавить или сдерживать постоянно возникающие неформальные (теневые, серые, сетевые) связи и структуры обмена ресурсами между различными группами и институтами, обеспечивающие процесс существования целого или функционирования его важнейших подсистем. Быстрое расползание коррупции свидетельствует не столько о падении социальной морали, сколько о необходимости институционального согласования частных, групповых и институциональных интересов (потребности в рамках соотнесения различных систем действия). Поэтому коллизии такого рода оказывают разлагающее воздействие на саму систему централизованного государственного контроля, но одновременно становятся залогом массовой адаптации к переменам.

До определенного момента растущие напряжения в узловых точках системы компенсируются привычным двоемыслием «советского человека», но лишь до известного предела, пока серьезно не затронуты надежды на «доброе царя» или попечительскую роль государства. Государственно-патерналистские установки оказываются значимыми для большей части населения страны, поскольку в условиях падения экономики и жизненного уровня у основной массы нет достаточных ресурсов для независимого от государства существования. Неудовлетворенность фактическими результатами этой деятельности государства становится почвой социального протеста и дискредитации властей, однако среда, где сохраняется потенциал социального протеста, отличается консерватизмом и неспособностью к самоорганизации, это недовольство социально уязвимых, государственно-зависимых групп (бюджетников и пенсионеров). Иначе говоря, институциональные рамки «советского человека» сохраняют по инерции свою значимость, хотя уже далеко не в той мере, как это было в советское время.

Позднее (уже после анализа путинского режима) Левада несколько пересмотрел и скорректировал основные свои выводы. Суть поправок и уточнений сводилась к тому, что «советский человек» потерял значение *образца* для массовых ориентаций и идентификаций. «Советский человек» уже не воспринимается как носитель каких-то ценностных качеств и свойств, как субъект новых отношений и, соответственно, лучшего будущего. С началом эрозии образца общество утратило представление о своем будущем, чувство направленного времени, пусть даже в форме казенного оптимизма или рутинной уверенности в завтрашнем дне.

Однако то, что первоначально казалось фактором разрушения системы<sup>42</sup>, составляло и образовывало «подсознание» «советского человека» (теневые, а потому аморфные, плохо артикулируемые значения социальности, касающиеся значений насилия как символического кода поведения, репрессивного контроля, недоверия к другому, страху перед ним, готовности к обману, агрессии и проч.), все это стало выходить на первый план, обретая уже не негативные, а *позитивные* определения и смыслы коллективной солидарности (значения «наших», «своих», «русских» в противопоставлении «чужим»). Именно они — структуры негативной мобилизации и идентичности — оказались механизмом нейтрализации или стерилизации

<sup>42</sup> «В обстановке общественного кризиса латентные компоненты каждой антиномии <составляющей структуру образа «хomo советикус»> выступают на поверхность и превращаются в мощный дестабилизирующий фактор» [Левада 1993а, с. 24].

потенциала гражданской солидарности, самостоятельности, демократии «участия» (а не «зрительства»), ответственности, и обеспечили условия сохранения и воспроизводства базовых институтов власти.

Несмотря на разрыв между декларируемым и реальным уровнем изучаемых характеристик, значение советского «архетипа» сохраняется. «Тенденции реставрации (или реанимации) ряда характерных черт “человека советского” (чуждого рациональному расчету, окруженного врагами, тоскующего по “сильной руке” власти и т. д.) действуют после общепризнанного крушения идеологических структур и соответствующих им пропагандистских стереотипов, присущих советскому периоду. Это подкрепляет предположение о существовании некоего исторического “архетипа” человека, “архетипа”, уходящего корнями в социальную антропологию и психологию российского крепостничества, монархизма, мессианизма и проч. <...> Чем дальше уходит в прошлое его <советского человека> собственное время, тем более привлекательным представляется оно массовому воображению. Демонстративная ностальгия, естественно, служит, прежде всего, способом критического восприятия нынешнего положения. Ее побочный продукт – поддержание в различных группах общества, вплоть до социально-научной среды, идеализированных моделей советского прошлого...» [Левада 2006, с. 264].

Отдельной темой, занимающей все больше и больше места в размышлениях Левады (уже после проведенного им анализа последствий путинского режима), становятся «источники изменений». Существуют ли они и откуда можно ждать импульсов дифференциации и усложнения социальной и культурной системы? В первые годы после краха советской системы среди более образованной части российского общества были довольно широко распространены представления о том, что новое поколение, социализированное уже в других условиях, окажется носителем совершенно иных ценностей, будет характеризоваться другой этикой, мотивироваться иначе, чем их родители и деды. Отчасти такие ожидания подкреплялись данными социологических исследований, свидетельствующих о том, что молодежь не просто более образована, но и ориентирована на другие стандарты потребления, что она не испытывает обычных для старшего поколения страхов. Однако эти предположения оказались скорее набором иллюзий, а не прогнозами, основанными на теоретическом знании и фактическом материале. Разрушение прежних образцов не сопровождалось какой-либо позитивной работой по пониманию природы советского общества и человека, выработкой других ориентиров и общественных идеалов. Возобладали эклектические тенденции имитации прежних символических структур: ностальгия по былому величию, идеализация прошлого, прежде всего – мифологизация победы во Второй мировой войне, дореволюционного времени, обрядово-магическая сторона религиозного «возрождения» и проч. Но замена одних символов другими не меняет структуры общества и характера идентификации людей, их ценностных ориентаций, установления внутренних и внешних барьеров. Главный итог этих пятнадцати лет заключается в том, что общество притерпелось, массовый человек приспособился, адаптировался к вынужденным изменениям, но оказался не в состоянии понять их или изменить условия своего существования.

## Заключение

Если суммировать все наблюдения и выводы из анализа разнообразного материала, проведенного Левадой, то российская модель или версия «человеческих» последствий «догоняющей» модернизации может получить гораздо большее теоретическое значение, нежели просто один из многих примеров социетальной неудачи<sup>43</sup>. По сути, Левада показал, что крах тоталитарной системы советского типа (как и многих других) не является основанием для суждений о предопределенности перехода к современному обществу и завершения процессов модернизации, начатой несколькими столетиями ранее. Напротив, тоталитарный режим был лишь одной из модификаций «вертикально» организованного общества («власть» как «осевой» или конституирующий общество институт) и блокировкой модернизационного развития, или контрмодернизацией. Большевики, провозглашая необходимость модернизации общества и обличая старый порядок как архаический, нелегитимный в силу неспособности обеспечить форсированное развитие страны, в действительности создали лишь еще более жесткую, репрессивную и примитивную по своему устройству социальную систему, оказавшуюся неспособной к развитию, к социальной, структурно-функциональной дифференциации. Но точно так же конец этой системы не означает изменения структуры общества, а лишь реконфигурацию ее составляющих. «Надежда на спасительную руку государства не покидает людей, не умеющих найти силы в самих себе» [Левада 2006, с. 246].

Переход общества от «возбужденного» к обычному, повседневному состоянию сопровождается переоценкой и символических значений социального действия, и его прагматики. В «героические времена» общественных переломов массовые надежды вспыхивают и трансформируются по законам мифологии, лидеры идеализируются, оппоненты демонизируются до образов чудовищ и заклятых врагов, в период рутинизации идет обратный процесс «заземления» и деидеализации. «Расставание общества (как и отдельного человека) со своими иллюзиями, как показывают исторический опыт и современные наблюдения, простым не бывает. Так, расставание общества (прежде всего его интеллектуально-политизированной элиты) с иллюзиями коммунизма заняло десятилетия, происходило в несколько этапов, с романтикой перестройки прощались не столь долго, но тоже не просто. Трансформацию ожиданий и символов последующего периода еще предстоит изучать обстоятельно. Во всех случаях пути трансформации прагматических и символических компонентов расходились. Уровень практических действий и ожиданий шаг за шагом снижался, фантастические ожидания прорыва к новой жизни, изобилию, мировому уровню и т. п. низводились до некоторого улучшения или даже до просто сохранения достигнутого ранее. (В любом случае отсчет от воображаемого будущего заменялся отсчетом от наличных обстоятельств, происходило «приземление» образца.) Такова, в принципе, *прагматическая* составляющая рутинизации» [Там же, с. 372].

<sup>43</sup> Если под успехом понимать только европейские формы современного общества — с демократией, свободным рынком, высоким уровнем благосостояния населения, развитой системой социального обеспечения, образования, культуры, толерантностью, отказом от милитаризма, открытостью миру, интенсивным развитием технологий и т. д.

Принять подобную, лишенную всяких сантиментов и иллюзий позицию российскому образованному человеку, в том числе социальному исследователю, не просто трудно, а нестерпимо. Именно поэтому профессиональное сообщество отдает честь Ю.А. Леваде, но делает вид, что ничего не слышало, ничего не произошло. В этом, собственно, и заключается тот феномен «двоемыслия» и примитивизации, о котором писал Левада. В более широком смысле речь идет о периферийном, стсталом и полужакрытом обществе, не могущем (не желающем) расстаться с собственным традиционализмом. Каковы бы ни были трансформации его внешних форм, оно остается «вертикально» интегрированным, инертным, завистливым по отношению к динамически развивающимся современным странам. Поэтому «перед нами – не просто ряд исторических примеров, но парадигма, своего рода стандарт преобразующих процедур. Этот стандарт сохраняется не только массовой инерцией, но и действием вполне определенных рудиментарных социально-политических структур – военных и карательных, которые выступают хранителями и инкубаторами традиционно-советских поведенческих типов. Шансов на преодоление этой парадигмы в обозримом будущем – скажем, на два ближайших поколения или дольше – не видно. Протяженность российской социальной реальности “вглубь” принципиально отличает ее от “одновременной” реальности американской, немецкой, польской, эстонской и т. д.» [Левада 2006, с. 276].

## Литература

- Гудков Л.Д., Левада Ю.А., Левинсон А.Г., Седов Л.А. Бюрократизм и бюрократия // Коммунист. 1988. № 12.
- Гудков Л.Д., Левада Ю.А., Левинсон А.Г., Седов Л.А. Феномен бюрократии в историко-социологической перспективе // МЭИМО. 1989. № 2, 4, 5, 6, 7.
- Гудков Л. Метафора и рациональность как проблема социальной эпистемологии. М.: РУСИНА, 1994.
- Гурко Е. Модальная методология Давида Зильбермана. Минск: Экономпресс, 2007.
- Дубин Б.В. От традиции к игре: культура в социологическом проекте Юрия Левады // НЛО. 2007. № 5 (87).
- Информационный бюллетень ИКСИ. Сер. «Переводы и рефераты». М.: АН СССР, 1968. Вып. 1.
- Информационный бюллетень ИКСИ. М.: АН СССР, 1969. Вып. II. № 23 (38).
- Левада Ю. Введение. Элитарные структуры в постсоветской ситуации // Гудков Л., Дубин Б., Левада Ю. Проблема «элиты» в современной России. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2007.
- Левада Ю. Ищем человека. М.: Новое издательство, 2006.
- Левада Ю. Поколения XX века: возможности исследования // Отцы и дети: поколенческий анализ современной России. М.: НЛО, 2005а.
- Левада Ю.А. в телепрограмме «Школа злословия». 2005б. 7 ноября ([http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Interviews/levada\\_tolstaya.html](http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Interviews/levada_tolstaya.html)).
- Левада Ю. От мнений к пониманию. М.: МШПИ, 2000.
- Левада Ю.А. Проблема интеллигенции в современной России // Куда идет Россия? Альтернативы общественного развития. М.: Интерпракс, 1994.
- Левада Ю.А. Советский простой человек. Опыт социального портрета на рубеже 90-х. М.: Мировой океан, 1993а.

- Левада Ю.А. Статьи по социологии. М.: Фонд Макартуров, 1993б.
- Левада Ю., Ноткина Т., Шейнис В. Секрет нестабильности самой стабильной эпохи // Погружение в трясины (Анатомия застоя). М.: Прогресс, 1990.
- Левада Ю.А. «Научная жизнь – была семинарская жизнь» // Социологический журнал. 1996. № 3–4.
- Левада Ю. Динамика социального перелома: возможности анализа // Коммунист. 1989а. № 2.
- Левада Ю. Интеллигенция. Социология. Религия // 50/50. Опыт словаря нового мышления. М.: Прогресс, 1989б.
- Левада Ю. Сталинские альтернативы // Осмыслить культ Сталина. М.: Прогресс, 1989в.
- Левада Ю. Игровые структуры в системах социального действия // Системные исследования: методологические проблемы. М.: Наука, 1984.
- Левада Ю. Культурный контекст экономического действия // Проблемы системного анализа развития культуры. М.: ВНИИСИ, 1984.
- Левада Ю. О построении модели репродуктивной системы (проблемы категориального аппарата) // Системные исследования: методологические проблемы. М.: Наука, 1980.
- Левада Ю. Социальные рамки экономического действия // Мотивация экономической деятельности. М.: ВНИИСИ, 1980.
- Левада Ю.А., Долгий В.М., Левинсон А.Н. К проблеме изменения социального пространства-времени в процессе урбанизации // Урбанизация и развитие новых районов. М.: ЦЭМИ, 1976а.
- Левада Ю. Почему дороги ведут в Рим? // Знание – сила. 1976б. № 4.
- Левада Ю.А., Долгий В.М., Левинсон А.Н. Урбанизация как социокультурный процесс // Урбанизация мира. М.: Мысль, 1974.
- Левада Ю. Христианство; Фашизм; Традиция; Структура социальная // Философская энциклопедия. М.: Наука, 1970. Т. 5.
- Левада Ю.А. Лекции по социологии. М.: ИКСИ АН СССР, 1969. Т. 1–2.
- Левада Ю.А. Альберт Швейцер – мыслитель и человек // Вопросы философии. 1965а. № 12.
- Левада Ю.А. Социальная природа религии. М., Наука, 1965б.
- Левада Ю. Современное христианство и социальный прогресс. М.: СОЦЭКГИЗ, 1962.
- Мейстер Экхарт. Духовные проповеди и рассуждения. М.: Мусарет, 1912.
- Новое и старое в теоретической социологии. М.: ИС РАН, 2001.
- Осинов Г.В. Время, исследуемое на все времена. Введение // Левада Ю.А. Лекции по социологии. М.: СОЦЭКГИЗ, 1969.
- Семенов Ю.Н. Киноискусство и массовая аудитория. М.: Вече, 2008.
- Шалин Д. Человек общественный: гарвардское интервью с Юрием Левадой. 2007 (<http://www.unlv.edu/centers/cdclv/programs/bios.html>).
- Шляпентох В. Звездное время Юрия Левады: история одного экзистенциального выбора // НЛО. 2007. № 5 (87).
- Gabowitsch M. Wissenssoziologie statt Weihrauchschwenken. Selbstverschuldete Rezeptionshürden der Levada-Schule // Osteuropa. 2008. № 2.
- Levinson A. Phaenomen L // Osteuropa. 2007. № 10.
- Tenbruck F.-H. Das Werk Max Webers // Koelner Zeitschrift fuer Soziologie und Sozialpsychologie Opladen. 1975.